

Сборник прозы. Памяти моих
трагически погибших сына и мужа
Антона Сергеевича и
Сергея Митрофановича
ТАЛАЛАЕВЫХ

Ольга ЛАНСКАЯ

ЖУРАВЛИНЫЙ КЛИН

Проза

Санкт-Петербург
2022

УДК 821
ББК 84 (2Рос=Рус)
Л22

Ланская Ольга. "Журавлиный клин". Проза/ СПб: 2022. – 224 с.

ISBN 978 -56041761-8-4

© О.Ю. Талалаева-Ланская

От автора:

Журавлиным клином
пролетела горькая моя жизнь,
о которой я-то думала:
какое великое это счастье –
быть земле.

«НАМ ВСЕЛЕННУЮ ПОДАВАЙ, НЕ МЕНЬШЕ!»

Интервью Елены Ефимовой с писателем Ольгой ЛАНСКОЙ.

"Русский век", портал российских Соотечественников.
(Государственная программа переселения. Культура. "Я вернулся в Россию".) 16.03.2015

Е.Е. *Ольга Ланская – член Российского Союза писателей. Работала в газетах «Полярная правда», «Кировский рабочий», «Советская Литва». Член Союза журналистов. Автор более десятка сборников прозы («Последний шаман», «Поле в Хибинах», «Малахитовая жизнь», «Солдатские вдовы», «Фасеточные глаза ночи», «2014» и др.), многочисленных очерков, эссе, публицистических и поэтических произведений.*

Буквально на днях Ольга Юрьевна была награждена дипломом номинанта национальной литературной премии «Писатель года» 2014 и по решению Большого жюри включена в число финалистов конкурса. Портал «Русский век» от души поздравляет финалиста и надеется, что творчество ***Ольги Ланской*** *станет близко и дорого тем нашим соотечественникам, которые любят и ценят настоящую литературу.*

***

Е.Е. Ольга Юрьевна, у вас за плечами – огромный опыт журналистской и писательской работы, Вы трудились и жили и на крайнем Севере, и на западной окраине Советского Союза, в Литве. Вы видели жизнь такой, какая она есть, без прикрас; писали, конечно, и о радостях, и о буднях, о том, чем жила наша страна. И вот страна распалась – совершилась «величайшая геополитическая катастрофа XX века» (В. Путин). Чем для Вас отозвалась эта катастрофа?

О.Л. Он очень верно сказал, наш Путин. «Величайшая геополитическая катастрофа».

Трижды за одно столетие Россию разрывало сверхъестественным, адским взрывом, после которого на нашей земле, казалось бы, ничего живого уже не могло остаться.

А ведь нет!

Уже сейчас, когда вернулся кусочек древней нашей земли – Крым, это можно сказать. Сейчас, когда море, называвшееся Русским еще в IX веке, и только в XV – то есть спустя века! – получившее от пришлых турок прижившуюся кличку «Караденiз» – Черное море, почти целиком оторванное от нас катастрофой, снова стало хотя бы в этой части русским.

Можно сказать, что и на этот раз силы разрушающие промахнулись. Знаю, как трудно будет России – а значит, всем нам – исцелять эту рану, не нами нанесенную русской земле, рану былого разрыва с Крымом.

Очень трудно.

Вон, какой вой и визг вскинулся вокруг этого счастливого для нас события. Но мы должны это сделать – исцелить рану.

Это будет справедливо. По-русски, по-божески. Потому, что благодаря этому счастливому действу крымчане избежали страшной судьбы русских в Донбассе, Луганске, на всей, зараженной, как черной оспой, национализмом Украине.

Е.Е. Вы рассказывали, что в 1989-м году покинули Вильнюс – просто закрыли квартиру и ушли. И больше никогда не возвращались. Но тогда ведь еще не распался Союз, так что же вынудило Вас оставить республику, которую многие до сих пор считают одной из «витрин» СССР, тихим, мирным и благополучным мирком. Невыносимой стала жизнь при националистах, при «Саюдисе»?

О.Л. «Саюдис»… Подвижка… Меня ведь звали туда, а я смеялась, когда коллега из литовской «Тиесы» («Правды») призывала меня в его ряды. Мы думали, это временное помутнение. Как пришло, так и уйдет…

Но летом 1989 года литовская Компартия вышла из состава КПСС. Вся.

Из московского ЦК пришло распоряжение – выходить. Тогда в партии еще была дисциплина. Все республиканские компартии подчинились.

Это означало, что Советского Союза фактически не стало. Стержень страны был выдернут, она не могла после этого устоять. Ноги были уже перебиты.

Но… инерция восприятия…

Поэтому одни думали, что за этим приказом – какой-то высший смысл, и вскоре всё объяснится, а кое-кто уже потирал руки в предчувствии «счастливой судьбы» бизнес- рая.

Их убедили, что рай этот возможен только вне России.

А для нас, русских, отрыв от России был немыслим.

Видите ли, есть в большинстве русских некая глубинная, не всегда артикулируемая, но существующая в потаенных уголках души, с молоком матери впитанная связь с Родиной.

Нам тесно в хуторских образованиях.

В русских тысячелетиями живет такая свобода, такая вольность, такая раскованность, от каких - и крепость, и слабость, и стойкость, и бунты…

Мы внутренне очень общинный и очень свободный народ. Нам Вселенную подавай, не меньше. Но обязательный центр этой свободы всегда – Россия. Без нее ни свободы, ни счастья.

У каждого народа есть такой мистически связующий центр.

Для нас это – Россия. От печки, где пешком под стол ходил, до звезд.

Вы думаете, это Гагарин в космос летал? Нет! Мы с ним рядом были. Это мы в космос летали…

А в Литве – сытой, благополучной, легко живущей Литве - все мы стали нацменьшинством.

Особенно остро на перемены отреагировали дети.

Они перешли на русский язык. Стали отказываться от общения на литовском. Доходило до драк…

Это было очень серьезно. Так что, остаться за гранью России на роли людей второго сорта было просто невозможно.

Мы думали, уходим ненадолго.

Я даже вещей с собой не смогла взять.

Такая сложилась ситуация.

Прямо из редакции, в одном костюмчике с сумочкой через плечо, где диктофон и журналистское удостоверение. Дети уже были в России. Думали, на полгодика. Оказалось – навсегда.

Е.Е. Вы вернулись в Ленинград – тогда еще это был Ленинград. Но теперь подчеркнуто называете себя петербурженкой, а свою прозу – петербургской. Да, она именно такова, она продолжает традиции Серебряного века русской литературы. Для меня вашим предтечей является Алексей Ремизов, Вы тоже смотрите на мир «подстриженными глазами»?

О.Л. Я не смотрю. Я скорее слушаю мир. Огромный поток информации. Он идет ко мне. Из таких глубин! Это – отдельная тема… А проза моя не от Серебряного века идет, а от протопопа Аввакума да летописей. Ну, и XIX, петербургский век…

Но главное – от самого Санкт-Петербурга. Это – если попытаться «препарировать»… Да зачем?

Е.Е. Вы – автор многих книг и даже сами затрудняетесь сосчитать, сколько же их написано. Но мне кажутся очень и очень значимыми трилогия «На руинах Империи» (вышла в свет первая ее часть, «Петербург») и появившаяся в начале этого года «2014» – образец великолепной дневниковой прозы, ее название говорит само за себя; это – отражение в душе художника тех событий, которые потрясли нас в прошлом году и продолжают, увы, потрясать и сегодня.

Украина… Для многих кровавые события на Украине, в Донбассе оказались неожиданностью. А для Вас? Вы предчувствовали, что 1991-й год прорвется вот так?

О.Л. Нет. Даже после безумия, пережитого нами в свое время в Литве, после шока от встречи с первым проявлением национализма, я никогда не предполагала, что человечество может так деградировать.

Не всё, но определенная часть его.

Полная деградация «нацгвардий» – душевная, интеллектуальная, нравственная.

Захват власти в Киеве через хитрость, ложь, кровь и последовавшие за тем изуверства…

Создается впечатление, что из темных глубин африканских джунглей – да простит меня Африка! – выплеснулась зомбированная нечисть и зубами вцепилась в плоть Украины.

И стоит хруст от обгладывания детских пальчиков.

И стон, который вурдалаки не слышат и не понимают.

Е.Е. «На руинах Империи», падение СССР – тема непопулярная. Очень немногие писатели решаются рассказать о том, что этому предшествовало и о том, чем все оборачивается спустя 24 года. Почему Вы решились взяться за эту тему?

О.Л. На руинах черти водятся. Бесы.

И о другом мире – мире святых – они уже и забыть рады.

Но он существует.

Как написано в нашем «Символе Веры», мир видимых и невидимых…

Во времена таких Катастроф, которые переживает Россия, мир невидимых воплощается в реальные персонажи – не могу называть их людьми, – бесстыдно пляшет и ликует, полагая, что пришло его время. И – ошибается.

Книга об этом, хотя в основе ее криминальная история – убийство всего одного человека.

После 2014-го говорю это – одного.

К чему это приводит, демонстрирует сегодня украденная у народа Украина. Независимого от того, понял народ это, или еще нет.

Е.Е. «Мир, мир, а мира нет», – говорил пророк Иеремия. Почему для нас нет мира? Только ли внешние силы виноваты в этом? Может быть, мы все еще продолжаем бороться сами с собой? И если да, то какова цель этой борьбы и к чему, как Вам видится, мы должны, в конце концов, прийти, к чему вернуться?

О.Л. Мне одна женщина рассказывала, как в Бразилии на просьбы наших путешественников сплясать для них что-нибудь «бразильское», их попросили сначала сплясать что-нибудь русское.

Ну, ломаться они не стали и пошли по комнате «Барыней».

Женщина павой выступает, чуть плечиком поведет, платочком махнет, а мужчина вокруг нее павлином таким гордым: глядите, мол, какая у меня павушка-то!

Так вот, когда они танец свой закончили, одна бразильянка и говорит: «Поняла я сегодня, в чем вы, русские, ни на кого не похожи. Вы душой танцуете, а мы задом.»

Посмеялись все.

А ведь правильно подметила бразильянка! И танцуем, и любим душой.

Есть у человечества ценности высшего порядка. Это, как говорят у нас, с головы до пояса.

А есть низшего – те, что ниже.

После перестройки-перестрелки последние даже у нас, в России, стали во многих особях преобладать. К чему это приводит, Украина в 2014-м показала всем нам.

Мы не с собой боремся. Мы с озверением человека не согласны.

Мы не хотели бы бросить в эту топку поколения русских, бросить и сжечь в ней свое будущее.

Мы не согласны с аннигиляцией человека.

Я говорю не только об этнических русских, а обо всем русском мире, который собрала за века под

свою охранную сень Россия. Помните, у Пушкина: «Всяк сущий в ней язык…».

Е.Е. Совсем недавно Вы писали: «Придет время, и мир заселят новые люди. Они будут чище, красивее и добрее. И среди них будут одиноко и неслышно бродить те, кто еще помнит нас и это страшное время. Время, вобравшее в себя столько человеческого горя, что вынести его почти невозможно. Но кто-то еще будет помнить о нем, когда нас уже не будет».

«Новые люди будут чище, красивее, и добрее», - что заставляет Вас верить в это?

О.Л. … Неизбежность. Так было всегда: бесов изгоняли из людей и вселяли в стадо, которое поневоле, лишившись своего образа, разума и воли, бросалось в море-озеро, тонуло в нем… И люди очищались от скверны.

Эта древняя притча о том, что поколения людей, сменяя друг друга, только потому и населяют еще эту Землю, что им всегда удавалось, как это ни сложно, руководствоваться высшими ценностями, стоящими на пласте культуры предшествующих поколений.

И, как говорит моя знакомая матушка Серафима, пока остается на земле хоть один молящийся Богу человек, земля не опустеет. И не озвереет.

На этом вся наша русская культура века стояла и многие атаки выдержала. Выдержит и эту.

Е.Е. Спасибо.

СУДЬБА

(Русская Мадонна)

Маме



Пила Мария редко. Да, может быть, и не пила вовсе, но так уж считалось, что непьющих на Руси не осталось, как только грянула война и забрала из русских домов всех мужчин. И стали вместо них приходить похоронки.

А на деле…

Когда и пить-гулять? Некогда. Время пришло не для плясок. Работали по две смены, а чаще вообще часов не считали, особенно молодые, если не успели до войны деток родить. А тут еще и начальник просит:

– Поработай еще часок-два, Мария! Видишь, рук не хватает, а твой-то на фронте, и детей у вас пока нет, слава Богу. Дома никто не ждет.

На это «Слава Богу» полыхнула Мария серыми очами, да опустила их вниз, прикрыла жар черными ресницами, чтобы ненароком-то не ожечь.

И лицо ее стало белее локона, что из-под сестринской косынки чуть выбился… Через полгода рожать ей, милый доктор. Как раз на Рождество – по-новому-то…

В те времена абортами себя не губили, и росли в семьях детки, сколько Бог даст. Большие были русские семьи. 6-7 детишек в доме – дело обычное. Как грибочки, один за другим подрастали.

Но опустело все без них, подросших.

Притихла Сибирь.

Ни баянов, ни гармошек, ни вечерних посиделок.

Ушли мужчины.

Журавлиным клином потянулись за ними на фронт и женщины – сестрички, врачи, летчицы, связистки. И никому объяснять ничего не надо было – народ и так все знал: снова немцы на русь напали.

– Вон, и мать твоя Пелагея все еще здесь, в госпитале, со вчерашнего дня, – говорил тем временем старый Главврач. – А ведь ей уже за 40. Ты молодая, выдержишь, поработай. Раненых-то сколько!

И вздернул подбородок и, сказав едва слышное: «Вот и спасибо!», растворится, не дожидаясь ответа, в глубине госпиталя среди таких же, как он, в белых халатах.

Доченька родилась как раз к праздничку. Омыли, окрестили, стали отца ждать. А письма приходили спо-

койные, ясные: бьем, мол, фрица. Вы там потерпите немного, а мы уж не подведем…

И так было до самого 1944-го.

А потом пришел клочок бумаги: дескать, муж ваш пропал без вести в боях за Советскую Прибалтику.

И потемнело все. И не стало белокурой Марии. Словно смыло горе всю красоту с лица, стерло, сожгло огнем…

И голоса ее нигде слышно не стало. А какая певунья была!

Ничего страшнее в те времена не было этих слов, написанных в похоронке: «ст. лейтенант… пропал без вести».

Ни-че-го-о!

Вскоре внезапно умерла мама, обучавшая ее музыке, языкам да танцам – всему тому, что новой России, которую называли теперь РСФСР, было совершенно не нужно. Не нужно, как и люди не рабоче-крестьянского происхождения, к которым относили и Марию, хоть родилась она уже в 1919.

И осталась она одна с маленькой дочкой в малознакомом городе по названию Новосибирск, где застала их судьба.

И далек, как град-Китеж, был от нее мамин Петроград, о котором столько рассказывала она ей зачем-то, называя проспекты и улицы, и все просила помнить материнскую фамилию и записать ее в крестильной грамотке дочери:

– Мало ли что? Чтобы фамилия наша не затерялась… Вырастет, замуж выйдет и потеряется.

– Мама, – просила Мария. – Я все сделаю, как ты просишь, только наша-то не затеряется: не девчонка, а юнкер с флота!

– Я не об этом, – тихо говорила мать.

– Да понимаю я…

Та говорить начала рано и любила спрашивать холодно и безжалостно:

– Где мой папа?

И ничего сказать ей на это Мария не могла.

А тут случай подвернулся – где-то в горах Якутии решили возродить заброшенный было золотой прииск, и друзья уговорили поехать с ними: там все по-другому. Там, мол, людей за судьбу не попрекают.

– Почему? – спросила Мария.

– А ссылать дальше некуда, поэтому.

Извинились за глупую шутку, да что там – решилась Мария уже ехать.

И полетели годы.

Сначала преподавать Марии не разрешалось, а после 1953-го года многое изменилось.

И стала работать Мария в школе на полных правах, и тысячи ребятишек обучила русской грамоте да письму, да всему, что сама умела - музыке, танцам, пению…

И мало было в школе таких учителей, как она.

Детей из дальних улусов привозили на зиму в интернат, просили директора школы: к Марии определи.

Строгая была, а пол-Якутии учителей да летчиков, врачей да шахтеров приезжали к ней, проведывать Первую Учительницу, а заодно и помочь, чем могли.

Бывало, откроет Мария утром дверь, а у порога – бутыли с молоком, да солидный кус вяленого мяса. То икорки оставят, то осетрины. А однажды шубку подарили из оленьего меха. Расшитую таким узорочьем! Глаз не оторвать.

Кто оставлял, кто дарил?

Люди.

А дочь росла быстро. Вот и школа уже позади, и в институт пора ехать. Про Петроград-Ленинград слышать не хотела, Иркутск выбрала. Да и то, к матери поближе.

И рожать – к маме.

И снова девчоночка родилась.

Смотрит Мария – глазам не верит: чистая прабабка. Словно с портрета сошла…

Только после родов доченька Марии с месяц всего и прожила.

В день выписки из роддома началась у нее температура под 40, и ничего поделать не смогли. Через три недели не стало Золотинушки.

Вот, тогда пришли к Марии люди. Коньяк принесли. Привез кто-то. Не со спиртом же к учительнице идти! А другого ничего не было.

– Выпей рюмочку, – говорят. – Положено так. И поплачь. Поплакать надо.

Поблагодарила Мария, к столу пригласила.

– Есть у меня, кому поплакать, – тихо так сказала.

И к кроватке внучки отошла.

Смотрю я на все это, гостья дальняя, и думаю: вот как я подгадала-то!

Хуже не бывает... Должна была я ей, Ивановой Марии Варфоломеевне, в народе – Васильевне, сказать, что нашелся ее старший лейтенант, без вести пропавший. В братской могиле похоронен. Вот, документы да фото привезла – ей передать. Только опять все не очень ладно! Лежит он в чужом теперь нам городе Таллине, и никто не скажет, каково ему там, на порубежье.

– Марь-Васильевна, иди к столу, вот, для тебя рюмочка хрустальная с наперсток, с какими мы шубы да унты шьем, – говорит бабушка Октябрина, которая дольше всех Марию знает, еще с Аллах-Юня.

– Не одни Вы тут. Саха-Якутия с вами. Вы это всегда помните, хорошо? Вы стольких детей наших в люди вывели – Вы всем им как Мать.

Неспешно говорит бабушка Октябрина. Никто не перебивает. Слушают…

– Я недавно в Италии была с делегацией, Вы знаете, продолжает речь свою заклинательную бабушка Октябрина. – Там Мадонну нам показывали. На Вас похожа, Марь-Васильевна.

Обернулась Мария, а глаза у самой огромные, словно сквозь толщу воды, как град-Китеж, на нас взглянули…

И страшно мне стало.

И хотелось броситься на колени перед такой судьбой.

Санкт-Петербург

ПОХОРОНИЛИ

Ушла от нас Маргарита. Не сразу. Потихоньку. По капельке. Как последняя водичка из дырявенького дождевого ведерочка вытекает.

Или, как кровь. По капельке.

Говорят, когда человек замерзает, чтобы ему не очень больно было, он засыпает. Сядет в сугробик под елочку. И заснет. А сверху и снежком, бывало, припорошит...

Я таких-то не находила, а вот, рассказывали как-то весной спасатели, когда с гор вернулись, где лавина сошла...

Не с болтовни рассказывали.

Потому, что вернулись-то с гор с мертвыми.

Питерские были ребята.

Заходили они к нам на КСП перед маршрутом, да только не вернулись.

Зимой мы их не нашли. А сейчас подтаяло слегка – пошли снова искать…

Весь лагерь их лавиной накрыло.

Не так, чтобы центром, бочком.

А присыпало.

Ну, вернулись спасатели. Спрашиваем:

– Как, нашли?

– Нашли, – отвечают.

– Всех?

Старший кивнул.

Снег с валенок в сенцах обтряхивал и молчал.

Подошли и остальные. И все – в молчок. Нашли, мол, и все. В морг свезли. Все там. Вся группа.

– А нашли-то как? – спрашиваю.

Молодая, строгая была. Все правду выведывала. Ведунья такая вот.

А старшие, смотрю, графинчик с водкой из шкафчика достают, закуску на стол – какая есть, что к водочке полагается.

Расселись вокруг стола. Одна я стою сбоку. Меня столы такие не интересовали. Все вокруг давно знали за мной такую блажь, попривыкли, не в претензии.

Стою, жду. Старший из поисковиков командует Теть-Ирише:

– Наливай, мать. Помянем.

– А сколько их было? – спрашивает Теть-Ириша.

– Шестеро было. Шестеро.

И достают откуда-то из-за пазухи, что ли, мужики бутылки с водкой и на стол ставят.

Смотрю, метнулась Теть-Ириша к буфетику, еще шесть стаканов достает, и все – на стол, и в каждый водку наливают – до краюшка.

А потом тот мужик, что распоряжался, говорит:

– Помянем. Нашли все-таки. Мы нашли. Не волки.

Поднялся, запрокинул стакан, не чокаясь и не закусывая. Как положено на поминках. Все так же, как он, сделали.

Тут он меня заметил:

– Чего в угол смыкалась? От такого стола – грех прятаться. Садись.

Присела я со всеми. Стакан водки передо мной. А я ее запаха и не переношу – слезы выбивает.

– Не пьешь? – говорит.

– Нет.

– Ну, и хорошо, – отвечает. – А уважить надо, к губам поднести. А они тебе за слезу твою благодарны будут.

Я послушалась. Поднялась. К стакану прикоснулась и поставила его на стол только тогда, когда села. Смотрю, как я села, все шесть поминальных стаканов кусочками черного хлеба накрыли. Как землей.

Помолчали.

– Как нашли, спрашиваешь? По одежде нашли. Веером она от лагеря разбросана была. Веером. Так и людей по ней нашли.

И подумалось мне тогда-то: неспроста у горнолыжников одежда такая яркая. Неспроста. На белом снегу издалека видно…

…Ушла наша Маргарита. Сначала в густой туман, что клубился над Фонтанкой, как Змей-Горыныч.

Мы смотрели, как она улыбается, как распахивает машину и все смотрит и все улыбается.

А потом долго висел туман.

И не было ни звука.

А потом выпал снег, и она вернулась. Вся в хвоинках, подарках и морозном румянце. И горели ее зеленые глаза ярче ночных звезд.

Уезжая, бросила:

– Я не надолго! Не могу без Питера. Ждите! И не провожайте! Слышите, не провожайте! Я скоро!

Ушла наша Маргарита.

И снег стаял.

И следов не видно…

Только стала замечать я, что пробивает меня, порой, нежданная слезинка.

Откуда бы?

Да и Маруся…

Все сидит у окна. То вздохнет, буркнет. То отойдет, ляжет на свою "верблюжку", гукнет низким своим басом, вздохнет тяжело, протяжно и притихнет. Даже не лает совсем.

Ждет?

Санкт-Петербург, май,
2014 г.

ГАВРИЛОВ ЯМ

Прасковья Афанасьевна была родом из Гаврилов-Яма. Что это и где, не особо рассказывала. Но временами в речах ее проскальзывало, что родину свою помнила и любила.

Больше того, гордилась ею, как и положено каждой икринке помнить, откуда она пришла большой рыбиной в чужие океаны.

А тут не икринка – человек. Так о чем речь?!

Муж Прасковьи Афанасьевны тоже был из тех мест, но рано не то умер, не то сгинул где-то, успев, к счастью, оставить Прасковье Афанасьевне сыночка.

Недолго ленинградцем-то побыл – год-полтора после того, как влились они мощной волной оргнабора в Ленинград.

Было это в 1932 году, – время, о котором Прасковья Афанасьевна только и помнила, что уехали они тогда из Гаврилов-Яма…

Никто уже не называл Петроград иначе, как Ленинградом, словно, ничего не зная наперед, отмеряли люди городу особую – не дай Бог никому! – судьбу, крестный горький путь русской столицы из блеска в забвение.

Судьбу и меру.

Про Петроград оргнаборовцы ничего не знали, да и некогда им было думать об этом и непривычно.

Стали они все одним махом ленинградцами, объединенные уже этим в нечто прочное и единое.

Это роднило. И мало, кто думал о том, что ими пытались забить страшную невосполнимую брешь, заместить миллионы ушедших, расстрелянных, сгинувших за годы «Красного Колеса» – годы геноцида русских, или, как тогда говорили, великоросов… Хотя бы количественно.

Но и с одного раза это не получалось…

Растила сына, от работы не бегала. Уважали ее товарки. Строили они тогда много, чем и до сих пор люди пользуются так, словно грибочком в лесу найденным. Ну, да не про это рассказ.

Дали вскоре Прасковье Афанасьевне с сыночком от завода комнатку в коммуналке, да не где-нибудь, а в центре города.

Коммуналка была большая, на семь семей, с просторной кухней и ванной, широкими коридорами, которые новые хозяйки, обживая барские хоромы, тут же поделили на сектора владения, застолбив за собой право на кусок коридора или кладовки какой-нибудь особой меткой – шкафом, буфетом со свалки, стиральными досками, швабрами, да всем тем, что могла изобрести ненасытная, оторванная от корней людская масса, чтобы пустить свои корни в новой земле.

И летели годы, как сорочьи стаи.

Менялись жильцы в коммуналке: росли семьи, богатели люди, покупали себе новые квартиры в кооперативах, разъезжались. Их места заселяли новые из новых оргнаборов.

Долго не мог насытить Ленинград в своем народонаселении пробоины кровавых лет властвования над Великим Городом Троцкого со товарищи…

Все менялось. Не менялись в квартире только двое: Прасковья Афанасьевна да Мария Петровна.

Кто из них был старше, трудно сказать.

Но поговаривали, что Мария Петровна была вдовой сына расстрелянного чекистами хозяина дома.

Не своя, значит.

А в ясную белую июньскую ночь 1941-го, как тати, как воры, как бандиты напали на нас фрицы со своей камарильей.

Пришла война. Наглая, стремительная.

И сжалась Россия, словно сжевывали ее ненасытные акульи челюсти.

А вскоре сгорели в Ленинграде продовольственные Бадаевские склады, где хранилась еда для всего Города.

Так горели, что земля чуть не на метр маслом да шоколадом пропиталась. И зимой ходили туда люди, отбивали кусочек, оттаивали в горячей воде и ею питались…

Прасковья Афанасьевна с сыном уехала в эвакуацию: завод позаботился.

А Мария Петровна осталась работать в прифронтовом госпитале – врачей в городе не хватало, да и ни при каких условиях не могла покинуть она этот город.

Причин-то много: фронт рядом, может, муж забежит на пару часиков в увольнение? Ее да годовалого

сыночка повидать. Придет, а в квартире пусто! Как же так? Не по-русски это.

Но и без того вскоре опустела коммуналка.

Получила Мария Петровна похоронку, а потом Господь и маленького прибрал: кончилось у нее молоко. Высохло…

Прасковья Афанасьевна вернулась из эвакуации с подросшим сынком, и тихо порадовалась за соседку Мария Петровна.

Тихо. Потому, что знала, что ненавидит Марию Петровну Прасковья Афанасьевна. Только, вот за что, не понимала.

Старалась пореже бывать дома, на общей кухне не задерживаться…

А когда пришлось выйти на пенсию, стала на все лето уезжать в свою Псковскую, где чудом сохранился дедовский дом, и где еще живы были люди или их родственники – дети да внуки, да внуки детей, помнившие и ее, и родителей.

Душой отогревалась она среди них.

Но оставаться там на зиму уже не было ни сил, ни здоровья. И она возвращалась в родной Санкт-Петербург, где ждала, не могла дождаться этого счастливого часа Прасковья Афанасьевна.

Веселый человек была эта Прасковья Афанасьевна из Гаврилов-Яма. А частушек сколько знала! А поговорок-сказок-присказок! Ходячий Пушкин в юбке, да и только.

– Вот, – говорит. – Скажи-ка мне, чей это нос через Волгу – мост, а?

И смеется.

– А это как, знаете? На одного рос, а двоим достался!

Мужики хихикают, бабы отмахиваются: а ну, тебя, мол, Прасковья Афанасьевна! Как была бесстыдницей, так и осталась!

– А с чем родился, с тем и сгодился! – задиристо возражает Прасковья Афанасьевна.

И смеется. Негромко так. По-кикиморски. Ядовитенько.

Любила подшучивать над соседями Прасковья Афанасьевна.

По-разному.

Вот, захотелось молодых хозяек поссорить.

Возьмет, да и мыло из одной мыльницы в другую перебросит, да еще перед этим поваляет в чем-нибудь…

С чужими полотенцами «поиграть» любила. То узелков навяжет, то под ванну бросит. Шутила.

Ссорились люди поначалу.

А потом одна случайно увидела, как Прасковья Афанасьевна, стоя на четвереньках широким задом к небу, соседке таракана под дверь подталкивает.

А он сопротивляется. Не идет, и все тут.

В это время другая жиличка коридор пересекала, голову в их сторону, разумеется – чего, мол, бабы у чужих дверей шебуршатся?

Первая возьми и помани пальчиком.

Та на цыпочках – к увлеченной озорством Прасковье Афанасьевне.

Не выдержали молодые, хихикнули.

Колыхнулся цветастый зад Прасковьи Афанасьевны, откуда-то из-под руки белый платочек появился, за ним острый носик и голубенькие глазки.

– Вам чего тут надо, девки? – сердито спросила Прасковья Афанасьевна.

– Вас прижучить! Созывай-ка, Наталья, весь народ, что дома!

– Не надо, девоньки, не надо! – заверещала Прасковья Афанасьевна. – Шучу я. Скучно мне.

– А вот еще раз у чужой двери увижу, – зловещим шепотом сказала Светка. – Сама разберусь, поняла?

Видимо, поняла.

Перестали путаться полотенца да мыльницы, тараканы в комнаты не заселились. И настал мир.

Но почти не видно стало в общих местах Прасковьи Афанасьевны.

– Нет, подумала Светка. – Тут что-то не так. Не может кикимора сразу ангелом стать. Не бывает такого.

И стала поглядывать на дверь Прасковьи Афанасьевны. Раньше не замечала, пробегала мимо, а тут поглядывать стала.

И вовремя.

Пришла с работы, глядит, а у Прасковьи Афанасьевны дверь приоткрыта.

– С чего бы это?

Не успела додумать, как смотрит, распахивается дверь Марии Петровны.

А открывались их двери почти встык.

И в тот самый момент, как высокая, дородная Мария Петровна сделала первый шаг за порог отведенной ей комнатушки, из двери Прасковьи Афанасьевны, которая дожидалась этого момента, сидя на удобной табуретки с костылем в руках, – в этот самый момент из приоткрытой ее двери высунулся крепкий костыль, и преградил дорогу Марии Петровне.

Та упала, нет, грохнулась со всей высоты своего немалого роста, тихо охнула и замерла на сером полу коммунального коридора…

Вызвали скорую. Врачи долго не трогали Марию Петровну. Всё осматривали, приглядывались. Делали какие–то уколы, что-то ждали.

Спросили:

– Родственники у нее есть?

– Нет, – так же тихо ответила Светка. – Война, блокада… Никого у нее не осталось…

В какой-то миг Мария Петровна приоткрыла глаза и одними губами прошептала Светке:

– Запомните, пожалуйста, я урожденная Шевелева. Повторите.

Светлана повторила.

Дверь в комнату Прасковьи Афанасьевны была плотно закрыта.

Через какое-то время Мария Петровна опять тихо так, на последних силах, говорит Светке:

– Почему Вы не сказали мне, что снимаете для малышей вторую комнату? Я ведь не просто спрашивала. Я бы Вам свою подарила. И Псковскую. Почему?!

– Не велели, – призналась Света. – Хозяин комнаты не велел.

– Все-все-все, – властно сказала женщина со «скорой». Мы ее забираем. Ни слова больше!

– Куда забираете?

– Вы родственница?

– Нет.

– В больницу забираем!

И от нее загородились спинами в белых халатах, переложили Марию Петровну на носилки. И унесли.

Хлопнула входная дверь. Отчего-то страшно и тихо стало в огромном доме. Больше Марию Петровну никто никогда не видел…

Только однажды кто-то позвонил по телефону:

– Что вы за люди? Хоть бы за вещами ее пришли! С вами же она жила-то! Не в пустыне!

– Кто? – спрашивает Наталья. – Кто жил? Какие вещи?

Бросили на той стороне трубку. Не стали объясняться…

А через неделю-полторы после того странного звонка позвала Наталья Светку на кухню:

– Разговор есть.

– Ну, пошли, коли разговор…

– Слышь, Света, – сказала Наталья, усаживаясь под форточку. – Прасковья Афанасьевна-то… просит тебя к ней зайти.

– Зачем это? Ее сын вон каждый день навещает. Мужик он серьезный, за 50. Непьющий. Спрашивала я про нее. Говорит, в порядке она. С ногой что-то, но пройдет…

Наталья слушала молча. Потом закурила. Не спеша выдула струю дыма в форточку, помолчала.

– Ты понимаешь, Свет, с ней что-то странное творится. Она говорит, что стоит ей спустить руку с кровати, как какой-то косматый барабашка начинает грызть ее.

– Какой еще барабашка? Совесть это ее грызет, совесть! Жила бы еще Мария Петровна, если бы та ей подножку костылем не устроила!

Женщины помолчали.

– И еще, она говорит о том, что скоро начнется война. Она видит дальние зарницы. Лежа на кровати видит. Сквозь плотные шторы. Да…

– Ясно, – сказала Светка. Ты это сыну ее скажи. Я-то ей зачем?

– Да говорит она, что только у вас есть настоящая икона, подлинная, понимаешь? Она девчонкой в церкви такую видела. Запомнила, потому что на доске образ-то, а у Богородицы не две руки, а три, а церковь ту взорвали. Поэтому, говорит, теперь во всем Гаврилов-Яме таких икон нет. Ни у кого нет. Даже в Гаврилов-Яме….

Женщины опять помолчали…

– Но больше всего ее испугало сегодняшнее происшествие, – сказала, наконец, Наталья.

– Какое? – удивилась Светка.

– Ночное. Ночью она пришла на кухню и вдруг слышит, за дверями, которые на черный ход ведут, что-то шевелится…

Как бы карабкается…

– Ну?

– Она возьми, да первую дверь распахни! У нас же там двойные двери.

– Да, двойные…

– Дверь-то распахнула, а там, представь себе – мужчина. Высокий-высокий. Весь в черном. А порог-то между дверями, где мы обычно ведра оставляем, весь пеплом светлым покрыт. Весь! А мужчина в черном костюме все что-то ищет в этом пепле и все бормочет что-то, словно зовет кого-то. Тихонечко так зовет…

И всё ищет, ищет что-то в пепле-то!

И бормочет… И тут Прасковья-то наша в миг Марию Петровну вспомнила.

И про мужа ее, который на фронте погиб. И про их сына маленького, что в блокаду умер. Полтора годика, говорит, ему было. А главное, – не поверишь, Света! – про пакости она свои вспомнила. Про то, сколько она их Марии Петровне понатворила только за то, что та из здешних, из ленинградских. Не наша, вроде как. И страшно ей теперь, понимаешь?

Страшно.

Санкт-Петербург
2 мая 2015

ОСЕНЬ В РЕПИНО

Мы допили кофе, невероятно вкусный здесь, на берегу залива, на террасе маленького кафе.

Марго вдруг обрывает тишину, баюкающую нас:

– Ну, как? Заедем в Комарово?

…Позади чудный день, запущенная за лето отсутствия дача, газон вокруг которой зарос невероятной травой и грибами такого разнообразия, что похожи были они скорее на цветы, заброшенные сюда со странной, незнакомой планеты…

А, может быть, и впрямь здесь побывали инопланетяне, в которых мы, конечно, как люди разумные, не верим.

Но вот остался след от их внеземных плантаций – эти голубые, черные, белые, с оборочками, бантиками и прочими узорчатыми излишествами непонятные нам грибочки.

И их видимо-невидимо…

Песок у залива по-сентябрьски прохладен, изрыт следами.

И небо над нами огромно и бездонно.

И кажется, что на всей земле только это и есть – тишина, легкий бриз, покой…

И потому предложение Марго звучит для меня внезапно – вспышка, взрыв, за которым неизвестно, что.

Я не люблю лесов вокруг Города. "Не люблю" – не точное слово.

Боюсь? Наверное. Они видятся мне сухостоем, буреломом, где вьются-кружатся невидимые, не отпетые.

Не отпетые…

Душно, смертно белой кипенью цветет черемуха. Мимо, мимо…

Вспыхивают вдоль шоссе неземной красой осенние клены. Мимо, мимо…

Лето на излете.

Хожу по кромке моря. Плотный, влажный, холодный песок. За спиной – дюны с синей острой травой и сосны. Не-лес.

– Ну, так поедем в Комарово? – повторяет Марго.

Вздрагиваю.

Между нами и Комарово – лес.

Тот самый.

Зеленые глаза Марго темнеют, мохнатые – полукружьем – ресницы приглушили смех. Она всегда готова шутить, тормошить, смеяться.

– Только к Анне Андреевне! – добавляет медленно, не спеша.

Убийственный аргумент.

Смотрю вопросительно на Сержа. Он, как обычно, невозмутим. Помесь Геракла с Зевсом.

…Однажды в Александро-Невской лавре во время службы к нам подошел высокий строгий монах, овевавший всех, там бывших, чудным ладаном, остановился и вдруг произнес, обращаясь к Сержу:

– Благодать на Вас. Благодать…

– Что Вы сказали? – спросила я.

И он повторил, повернувшись к Сержу и глядя ему в глаза:

– Благодать на Вас…

Сказал так, словно увидел то, чего даже я не видела. А мне казалось тогда, что я знаю всё о близких мне людях.

…Серж лесов не боится. Хотя присутствие неотпетых и он чувствует.

Может быть, они не зовут его? Не молят? Не хватают? Я не могу идти сквозь них. Это выше моих сил. Серж может. Он сильный…

– На машине – это две минуты, – говорит Марго, дразня, заманивая.

– Так не пешком? – спрашиваю я.

– Нет, – смеется Марго. – А оттуда сразу домой, в Петербург.

Решение принято. Мы едем. К Анне Андреевне Ахматовой.

…Прямая аллея высоких деревьев. Остановка, тормозим перед молчаливыми придорожными знаками. Они приказывают:

– Дальше только пешком.

Решетка – черная, похожая на ту, что поставили, вместо, как говорят, украденной у Летнего Сада.

Прямая дорожка – рыжий песок, рыжие хвоинки – между заросшими травой канавками, через которые перекинуты дуги мостков с перилами.

Гляжу – не верится: Фонтанка в миниатюре.

Нет ни воды, ни чаек, ни Фонтанного Дома в позолоте и чуждости, отрешенности – насильной – от нее.

Отчужденности. Золотом. Чужими именами. Чужими голосами.

А здесь, вдали от Петербурга, в лесной чащобе – прорыв, намек, как чайка в небе – штрихом белым по серым петроградско-ленинградским туманам, – та Фонтанка, вдоль которой ходила она, невидимо и узнаваемо – внезапно…

Анна Андреевна…

Смотрю – не верю. Тихо говорю:

– Она так любила Фонтанку…

Марго пристально смотрит на меня зелеными, все читающими, глазами. Произносит:

– А вот, она сама. Здесь, прямо!

– Прямо? – не верю я, что так просто вот, вдоль осеннего миража Фонтанки, несколько шагов и – ее последний дом, последнее на этой земле ее пристанище.

Гляжу – не вижу.

Иду, как могу. Смотрю вниз на хвоинки, сброшенные соснами.

С опущенной головой, боясь потерять найденное. Боясь обмануться.

Опять подсунут подделку.

Как много подделок стало вокруг. Подлинность исчезла.

Умерла. Растворилась.
Опала с часов времени
вместе с моим веком.
Я здесь гостья.
Я вообще случайно здесь.
Поскольку Миллениум позади.

Но это уже не мое дело. Не мне понимать, почему? «Господь все управит»… Да. Значит, так надо.

***

Песчаная дорожка переходит в плиты – слава Богу! – не жестко квадратные, а крупные и ломаные, как льдинки в осенней первосентябрьской предшкольной луже – прозрачные чистые, хрустальные.

…Так забавно разбивать их. Казалось, они бездонны: в них синее-синее небо.

Они стеклянные?

Каблучком по центру!

И исчезло, скукожилось в частых мелких морщинках синее юное первосентябрьское утро, сгинуло, пропало, исчезло на твоих глазах.

И только холодное солнце с небесной невообразимой высоты смеется:

– Хочешь еще попробовать?

– Нет, – беззвучно отвечаю я. – Никогда больше не буду разбивать лужи.

***

Тайга. Мне почти семнадцать – совсем взрослая девушка, первокурсница! Привычно целюсь в белку,

наивную доверчивую, любопытную. Не в белку даже, а как учили, – в беличий блестящий глаз.

Мушка в прорези по центру, "ушки" выровнены в линию – три точки, крестовина прицела, в центре – живой беличий глаз, спуск, неслышимый выстрел. Неслышимый, убитый радостью: попала!

Бросаюсь сквозь мягкие лапы пихт, сквозь кустарник, влажный от прошедшего накануне дождя, к кедру, с которого рухнуло вниз беличье тельце.

Она еще жива.

Зачем, зачем? Не сезон. Даже шкурка ни к чему – не сезон, еще рано.

Зачем?

– Погоди, говорю ей, погоди! Только не умирай. Я отнесу тебя в палатку, ты будешь жить.

Какая маленькая и легкая…

И не говорит.

Почему она молчит?

Почему не шевелится?

– Слышишь, не умирай!

Я укладываю ее в изголовье спальника. Лежит. Ждет?

Она молчит. Смотрит.

Кровь на шкурке.

Рука совсем как человеческая.

Только черненькая.

Узкая ладонь, тонкие длинные пальцы.

Пианистка!

Я глажу ее пальцы.

– Только не умирай, слышишь, Пианистка! Не умирай. Я сейчас дам тебе воды. Ты, ведь, хочешь пить, правда? Ну, хоть чуть-чуть, глотни. Тебе станет легче. Только живи.

Она не смогла.

Я больше никогда не стреляла в белок. Не давила первосентябрьских луж.

***

Здесь, по эту сторону Урала у самого синего моря, родины всех моих предков, в это время сентября не бывает промороженных до дна луж.

Говорят, раньше бывали. Но потом сменили календари…

Это было давно.

До моего рождения.

И даже до рождения мамы.

Да и сегодня не 1-е. Сегодня 19-е. И не 1900- какого-то, а 2-х тысячи очередного…

И я у могилы Анны Андреевны Ахматовой.

У могилы…

Стена – почему стена? Из странного серого камня, белый барельеф.

Упрямый, не сдающийся профиль, тонкий, четкий, самозаключенный в самом себе, напряженно впитывающий все звуки, все страдания, все счастье и горе мироздания…

Внимающий неслышимому и невидимому другим, но разлитому вокруг, идущему из космических непо-

стижимых глубин и – встречно! – от земли, к ней и всему тому, что в ней самой.

Космическая вертикаль, пересеченная чертой земного надгоризонта – крест, в сердечнике которого суть Распятия.

Крест – это всегда сопряжение небесного и земного.

И тут уж никак без вздрогнувшей, содрогнувшейся земли, солнечного затмения, внезапного урагана, рванувшего, разорвавшего пополам с треском сухого разряда молнии завесу храма и похоронившего его навеки.

Лишь в назидание – понятое ли? – обломки стены…

В эту, ахматовскую, стену-символ записочку не воткнешь. Нет для этого в ней места. Зато на скамейке, прогретой осенним солнцем – русские иконы.

И хочется опуститься на колени.

Но я поворачиваюсь и оказываюсь лицом к кресту – большому, как Путный, черному с заклепками, похожими на шляпки гигантских гвоздей.

Крест, прошитый заклепками, раскинул руки над ее последним пристанищем.

А на нижнюю перекладину, к такой прибивали гвоздями босые ноги Спасителя – на правой его, смотрящей вверх, части – четки.

Одну из своих книг она так и назвала: «Четки».

Марго, постояв рядом, тихо отходит в сторону – не спеша, вдоль и вокруг могил, – словно кружева вяжет.

У каждого поминального креста приостанавливается, голова опущена вниз, глаза, словно ничего не видящие, скользят по памятникам, травам, надгробьям, надписям, – читает?

Молится?

Поминает?

Словно меж душ бродит… Она умеет не мешать.

***

… Мне 20, и я замужем. Мы снимаем комнату на Гороховой в тихой большой коммуналке, где нет детей. Совсем нет детей.

Временами в коридоре я встречаю тонких, бесшумно проплывающих дам – синеглазых, легких, словно невесомых, с узкими – правильнее – утонченными лицами.

Возникают. Бесшумно скользят. Скрываются за не гремящими дверями.

Старый, всегда натертый паркет.

Окна во двор.

Стена напротив изрешечена снарядами все еще недавней войны. Великой. Отечественной.

Мы и дамы коммуналки – из разных миров. Наш – светлый, солнечный, весь – в будущем.

Мы носим в себе это будущее, его еще нет. Они – бесшумные и строгие живут в своем осуществленном. Они знают то, чего не знаем мы: революцию, войну, блокаду.

Две эпохи. Пересеклись ненадолго.

Мы студенты. Каждый вечер возвращаемся из институтов сюда, на Гороховую.

Тормозим на углу у киоска «Союзпечати». Возвращаемся иногда порознь. И тогда продавщица ласково говорит мне:

– Ваш муж уже купил газеты.

Я удивленно благодарю и бегу дальше.

Я еще не умею ходить медленно – только бегом.

Иногда мы возвращаемся домой вместе, и часто видим странную женщину в окне троллейбуса.

Она двигается вдоль улицы. Иногда останавливается. Идет дальше.

Весь троллейбус молча посматривает на нее.

Мы все знаем, что эта женщина – из прошлых времен.

И что она – из «бывших», потому что на ней смутный, темный странный обширный плащ, нет, скорее салоп – таких никто не носит. Но дело не в этом. Не в одежде.

Однажды она вошла в наш троллейбус. Остановилась у выхода, передо мной.

Странные – не то серые, не то бледно-коричневые, «глухие» одежды. Так одеваются только «бывшие» – дворянки, жены офицеров…

Я в мини, пропитана солнцем и морем – я физически ощущаю их в себе – море и солнце. И скорость.

Через много лет спросит меня издалека по телефону давно не виденный мною человек:

– Ты все так же бегом по лестницам бегаешь?

И я удивлюсь, потому что до сих пор казалось мне, что про солнце и скорость никто не знает.

Это – мое свойство. И ничье больше. Никому не доступное. Я не позволяла!

***

Женщина из «бывших», а значит, из дворян, стоит передо мной.

Я вижу, как она «роется» в своих объемных, укутывающих, скрывающих от всех, одеждах – ищет "пятачок", чтобы оплатить проезд.

Что-то до боли родное, идущее от этой «бывшей» по принадлежности ее к истребленному революционной стихией аристократическому "классу" пронизывает меня.

Мне хочется кинуться к ней, помочь, поддержать.

И я, отвергая молчаливый протест мужа, говорю невозможное:

– Я заплачу за Вас, хорошо?

Женщина царственно поворачивает ко мне голову и произносит ровным неспешным четким голосом:

– Спасибо, не надо. Я еще в состоянии заплатить свой "пятачок".

– Извините, – смущаюсь я. – Извините!

Мы выходим. И муж мой тихо изумленно произносит:

– Ты не узнала ее? Не узнала?!

***

… Я опускаюсь на колени, нет, не ради того, чтобы опереться на них, а для того, чтобы дотянуться и прикоснуться рукой к низкому изголовью ее последнего пристанища.

Тяну руку через бетонный? – не знаю, быть может, каменный край, чтобы коснуться земли, – последней пяди земли, принадлежащей, нет – подаренной, преподнесенной ей людьми.

По этой земле она никогда не ходила.

Но через эту, последнюю Ахматовскую землю идут и звездный свет, и солнечный ветер…

***

…В феврале в Комарово бело от снега.

Как быстро растут деревья! Как быстро! Воткнулись пиками в небо, укрыли.

Белая тишина. Черный крест. Иконы и четки.

Люди приносят свои дары. Оставляют…

– Простите, – тихо говорю я. – Я снова к Вам с пустыми руками… Я помню, Вы не принимаете "пятачков"…

(Ох, этот мой глупый детский троллейбусный "пятачок" на Садовой!.. Всю жизнь его помню. Но об этом – не сейчас… Как-нибудь позже…)

И – только через много лет понятое, потому что пережитое уже в недоброй, жесткой яви мною, а ею, Анной Андреевной, написанное задолго до нас и нашего Малыша, которого убьют.

Постучись кулачком – я открою,
Я тебе открывала всегда.
Я теперь за высокой горою,
За пустыней, за ветром и зноем,

Но тебя не предам никогда...
Твоего я не слышала стона,
Хлеба ты у меня не просил.
Принеси же мне ветку клена,
Или просто травинок зеленых,
Как ты прошлой весной приносил.
Принеси же мне горсточку чистой
Нашей невской студеной воды,
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы.

И не дай, Бог, кому-то пережить это!

Или вот, написанное ею в страшном 1921, когда убили ее супруга, ее Гумилева:

"Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать..."

…Пора. Неловко протягиваю руку, что-то роняю на пол. Из блокнота выпадает листок.

На нем чьей-то рукой: "Русские – мифический народ, возникающий из ничего, когда России плохо…"

А дальше, цифры, даты.

Надо спросить у домашних, что это? Но не сегодня. Завтра.

Завтра будет новый день. И новое число.

Санкт-Петербург – Комарово

"ПИСЕМ НЕТ..."

Серые узкие доски пола уходят от глаз к горизонту.

Они сливаются там, в полумраке, в нечто смутно-сонное, тоскливо-томительное – бесконечная беспросветная безнадежность.

В высоких и узких, как бойницы, неуютных окнах мелькает последний багряный блик холодного зимнего дня и гаснет.

Тени под окнами сгущаются.

В них темно и уютно. Ната откатывается в теплую мохнатую черноту, закутывается в нее, чтобы не видеть бесконечной тоскливости серого дощатого пола.

Их двое во всем огромном молчащем здании – Ната и Мама.

Мама домывает пол, этот серый настил из досок над вечной мерзлотой, пронизанной пластами белого кварца, словно гигантским рафинадом, с огненными змейками рудного золота.

Актовый зал – последний в анфиладе комнат, и самый невыносимый для Наты.

Он пуст и несоразмерно огромен. Он кажется ей бесконечным. Взгляд не вмещает его целиком. И это давит на Нату, как смертная тоска...

Ната знает, что это мамины друзья из "Золототреста" устроили ей эту подработку, и каждый вечер они с мамой идут из детского сада сюда.

Какие-то высокие стройные люди в четких костюмах и галстуках ласково приветствуют их, что-то гово-

рят Тате, прощаются с мамой и расходятся по домам, оставляя их обеих наедине с этим бесконечно нудным занятием – мытьем полов.

И каждый вечер наступает момент, когда в Нате вдруг словно надрывается что-то, и нет больше сил ждать.

Ей хочется тихонечко скулить, нет, – выть, бессмысленно, по-волчьи выть…

Чтобы удержаться, чтобы не дать волю этому крику, Ната пытается смотреть на маму.

Та отжимает тряпку, поднимает ведро, идет к двери. Ната знает, что сейчас она вернется с ним, и снова начнется томительное монотонное ожидание, для которого нет ни слов, ни голоса, – лишь готовый вот-вот вырваться из горла тоскливый протяжный вой, единственно способный взорвать, разбить невыносимо однообразное течение серого ничегонеделания, этого долгого-долгого вечера, расчерченного теряющимися в темноте – без конца и края – параллелями досок.

И – Ната знает это – как только в дверном проеме появится это ненавистное ей ведро, она взвоет.

Дико, протяжно, необъяснимо. Но мама возвращается без ведра.

Она несет перед собой зажженную керосиновую лампу, ее окружает теплое оранжевое сияние света.

Она проходит в дальний угол актового зала, ставит лампу на крышку большого черного рояля, оборачивается:

– Хочешь, Наточка, я тебе поиграю?

Мама садится на стул, поднимает крышку рояля. На мгновение замирает над клавишами, вглядываясь в них.

Ната видит, как мама подносит к лицу кисти рук, дышит на них, задумчиво неторопливо растирает пальцы, согревая их мягкими, такими знакомыми ей движениями.

Снова замирает, а потом, чуть тряхнув головой, словно для того, чтобы откинуть волосы, опускает руки, они на мгновение замирают над клавиатурой и вот, пальцы ударяют по клавишам, – аккорд, еще, пальцы стремительно бегут по клавишам, и в сумеречной тишине рождаются звуки волшебной, неземной силы.

Они окутывают, подхватывают, уносят Нату, – живые, осязаемые, они рождаются прямо здесь, это совсем не то, что льется из черной тарелки радиорепродуктора.

Нет ни серого дощатого пола, ни черных заиндевевших окон, ни тайги за окном. Ната забывает, о том, от чего ей хотелось взвыть по-волчьи.

Она вся – слух.

Нет, она сама – эти звуки.

Нет ничего.

Есть только мама и это удивительное, что называется: музыка.

И вдруг все стихает.

Ната смотрит на маму.

Та произносит:

– Это Чайковский, Наточка... "Времена года". "Октябрь".

Она оборачивается, всматривается в темноту. Ната бежит к ней, врывается в золотистый шар света, окруживший маму, прижимается лицом к ее коленям. Безнадежность кончилась. Растворилась. Исчезла.

– А теперь я сыграю тебе из "Баядерки". Ты можешь потанцевать, – говорит мама.

И улыбается.

Это так редко бывает.

Ната смеется навстречу этой улыбке – золотые колокольчики – солнечной россыпью по темным сводам здания, по высоким бойницам окон «Золототреста», по бесконечной зиме, по едва ли не добровольной – из-за поражения в правах – маминой ссылке, о чем Ната, конечно же, и подозревать не может.

Танцевать!

Ната бежит в центр зала, поднимает руки, и новые звуки подхватывают ее. Она кружится, танцует, танцует до тех пор, пока не замолкает музыка.

– Я уже большая, – кричит она маме. – Мне скоро три года!

Ната знает, что скоро Новый год, скоро елка и ее День-Рождения.

И она снова смеется, снова звенят колокольчики из чистого золота…

Мама закрывает крышку рояля, убирает в сторону стул.

– Ну, а теперь пора домой.

Она надевает на Нату поверх валенок еще одни рейтузы, закутывает поверх пальто в толстую клетча-

тую шаль, и они выходят в мороз, в черный зимний вечер.

Ната садится – нет, закатывается на санки, и мама везет ее домой. Нате снова тоскливо.

Недалеко от дома они встречают круглую от множества теплых одежд приземистую женщину с особенной сумкой, висящей на ремне, похожем на ремень портупеи.

Мама молча останавливается перед ней. Тихо спрашивает:

– Писем нет?

– Нет, Мария, нет писем, – качает головой женщина, и они молча стоят еще некоторое время, потом прощаются и расходятся.

Ната наизусть знает этот диалог, еще до того, как он начнется, слово в слово.

"Писем нет?" – «Нет писем…» – странный ничего не значащий для нее рефрен, Ната не знает, зачем они, встретясь, всегда говорят одно и то же: писем-нет…

Ната еще не знает, что это такое – письма.

Она понимает только, что это то, чего всегда нет, так зачем говорить об этом! И снова странная тоска охватывает ее.

Ната молчит.

Они добираются, наконец, до избушки, заваленной колючими от мороза сугробами.

Белое и черное – два цвета зимы, и только дома краски теплеют, становятся золотисто-оранжево-коричневыми, как фон на картинах старых мастеров,

с четко очерченным шаром света керосиновой лампы в центре.

Мама усаживает Нату на маленький стульчик в центре комнаты, торопливо раздевается сама и присаживается на корточки перед Натой.

Светлая, красивая, неизменно ласковая.

– Ну вот, Натусь, мы и дома. Давай раздеваться.

Она раскутывает Нату из множества теплых одежек.

Ната недобро молчит.

Смотрит по-волчьи холодными глазами в золотистое облако «Мама».

Готовится.

И, наконец, выпаливает, зло, недобро:

– Почему, почему у всех кто-то есть – или папа, или сестра, или брат. Почему у меня никого нет?

Почему? Где мой папа? Или сестра?!

Мама растеряна.

Ната видит это, и уже не спрашивает, а выкрикивает эти слова, потому, что видит, в каком замешательстве мама, видит, как ей не по себе, ей плохо.

«Писем–нет…»

И Ната снова кричит, уже плача:

– Где мой папа?

Мама молчит. Потом тихо говорит:

– Ну, успокойся, успокойся!

И – уже громче:

– Не надо же так кричать!

В голосе мамы что-то непонятное, может быть – слезы?..

Нате становится страшно, и она замолкает.

Ната еще не знает, что идет война.

Ната не знает, что бывают люди «не того происхождения». Как ее мама.

И что за это самое «происхождение» людей «поражают в правах».

Ната еще ничего не знает. Кроме, пожалуй, того, что потерянное не всегда возвращается.

Как та погремушка, которую она, проснувшись однажды утром в предрассветном сумраке, пыталась передать через комнату спящей маме и которая, выпав из ее рук, не пошла к маме, как хотела Ната, а исчезла в бездне, начинающейся за решеткой ее деревянной кроватки.

И никогда больше не вернулась.

Ната тогда еще не умела ходить, но открытие, что выроненное не возвращается, ошеломило ее.

Она брала одно за другим всё, что находила в кроватке – игрушки, потом сняла с ног вязаные пинетки, протянула их маме, и они, как и игрушки не пошли к маме, а исчезли где-то внизу, в бездонном полумраке, конца которому не было.

Ната села. Ничего больше не было вокруг нее. Только пеленка да подушка. Пеленка была большой, но и она не дотянулась до мамы.

Та все так же тихо спала, повернувшись лицом к стене, и Ната видела только ее золотистые волосы, а ей так хотелось, чтобы мама обернулась и сказала ей что-нибудь.

Отдохнув, Ната взялась за подушку. Но та была очень тяжелой. Кряхтя, Ната тянула подушку за два уха, но та не поднималась.

– Наточка! – ты уже проснулась? – воскликнула мама.

Ната молчала.

– Ой, – сказала мама. – Зачем же ты все побросала вниз, ну зачем?!

Мама стала собирать что-то в темной глубине, и вещи, упавшие туда вопреки желанию Наты, возвращались в кроватку.

– Ну вот, теперь все на месте. Зачем же ты это сделала?

Ната молчала. Она еще не умела говорить, она просто подумала, что одной игрушки не хватает. Самой любимой.

Она пыталась объяснить это маме. Но та не понимала смысла Натиного курлыканья.

"Ничего, подумала Ната, когда я вырасту и буду ходить, я сама найду ее."

Но никогда, никогда в жизни больше не видела Ната эту игрушку.

И после всех бесполезных попыток поняла, что иногда что-то не может вернуться.

Даже самое любимое, самое дорогое.

Санкт-Петербург

КАБИНЕТ

Брату моему Джерому Д. Сэлинджеру



Я всегда полагал, говорил он мне своим тихим, как шорох колосьев спелой ржи, голосом, что есть вещи, которые надо успеть написать самому.

Иначе явятся ничего не знающие, насочиняют такого, чего никогда не было и не могло быть.

Только я могу описать мой кабинет таким, каким он был и остается. И нет никого в мире, кто сделал бы это лучше.

Потому, что только я знаю, что это такое на самом деле.

— Что? — шепотом спрашиваю я, щурясь от солнца.

И для надежности надвигаю на лоб венок из белых ромашек, и он, как поля шляпки, которые я так люблю, защищает меня, чтобы я не ослепла от горячего света, который излучает то ли солнце, то ли сам брат мой великий сэр Джером Д. Сэлинджер.

— Возможно, Милая Леди, — задумчиво отвечает он. — Возможно, мой кабинет не стоил бы и секунды ничьего внимания, если бы не был тем, что есть я.

Повторить?

Он и я — одно целое.

После этого и писать не о чем.

Все сказано. Но ведь ты-то поняла, а жена моего соседа с утра сегодня гоняется с тряпкой за горничной и кричит, что ничего не поняла. Словно от этого перевернется мир…

— А он может перевернуться? — спрашиваю я, рассматривая далекий горизонт.

— Пожалуй, вы правы, Маленькая Леди!

Он тоже смотрит на горизонт. Потом говорит:

— Поэтому, в принципе, мне предстоит написать автобиографию. Бррр.

Однажды я уже делал это.

Меня не поняли.

Может быть, они и были правы. Я рассказал им в одном абзаце что значит быть писателем. Это исключало существование вообще писательских автобиографий.

Повторяю, меня просто не поняли. Они безжалостно выбросили текст.

Меня до сих пор корежит от этого жеста.

Никто не имеет права выбрасывать чужие тексты. Почему?

Да потому, что мой текст — мое дитя. Еще объяснить?

— Да, — сказала Маленькая Леди.

И добавила из вежливости:

— Если можно, сэр.

— Ну, тогда слушайте.

…Кабинет был огромен бесконечно. Как раз по мне. Здесь не было ничего лишнего, ничто не мешало и не давило.

Его глубина тонула всегда в полумраке, и лишь мой любимый стол был слегка освещен. Не знаю, чем и откуда.

Да это и не так важно.

Я за ним почти никогда не работал.

Возможно, найдется кто-то, кто ухмыльнется, услышав это сочетание: «писатель» и «работа».

А между тем, только оно и справедливо. Все остальное — не работа.

Полумрак всегда обнимал меня со всех сторон, я переставал ощущать границы, сливаясь с ним, где было все, о чем мне когда-то рассказали, или что я обнаружил сам…

Сколько вечностей прошло с тех пор?

Не знаю.

Сегодня мне в это тихое утро сентября 2015 года предстоит написать автобиографию.

И я катастрофически безнадежно понимаю, что то, что я могу вместить в нее, никто читать не захочет.

Да и можно ли упаковать в одно лукошко все свое я?

И сногсшибательные невероятные фигуры космодрома Наска, которые так гениально зарисовал великий художник из Перу.

Он подарил человечеству кусочек счастья любоваться ими.

Потому, что сделал это гениально и, представляю, какой гигантский архив аэросъемок наверняка переворошил, потому, что иначе, чем с высоты, загадочный космодром не виден.

А ведь на нем нанесены все созвездия Зодиака!

Ты можешь бродить по ним и никогда не увидеть. Потому, что они видны только из космоса, только с высоты, на которой летают уже давно наши самолеты.

Этот космодром всегда был частью меня.

И неожиданный вброс солнца из джунглей, и синие горы вдали, так далеко, что я принимаю их за Джугджур.

Да, он всегда был космически бездонен этот его кабинет.

Только со временем света в нем убывало, а не рассказанного оставалось все больше.

Мой брат Сэлинджер! Знаешь ли ты, как мы все вздрогнули, узнав о твоем уединении?

По-русски ты ушел в скит.

А русские всегда правы, когда речь идет о таком.

Мы поняли.

Но все-таки ждали. Терпеливо ждали. Ты знаешь это.

Моя золотая макушка все еще торчала, украшенная венком из васильков и одуванчиков, среди золотых колосьев ржи, а ты уже тогда уходил, разрастаясь, как космические фигуры Перуанского плоскогорья Наска, уже тогда становился писателем, а мы все еще заливались беззаботным смехом над пропастью жизни.

Великий Кобо Абэ - страшный неотвратимостью своих предсказаний, Ясунари Такубоку — чужая странная культура чужой расы, задевающая — непонятно как — подробностями типа запахов пота, волосатой родинки на груди и вечно мокрым снегом в горах, не просыхающей почти всю зиму обуви…

И пески… Кто не хоронил там, тому не понять.

И слава Богу.

Древний Пророк из забавного сборника мудростей, собранных по всему свету ленивыми пройдохами-ростовщиками, сказал как-то:

— Есть время любить, И есть время уклоняться от объятий.

Добавлю к ветхой, но мало кем усвоенной истине:

— Человеку на земле дано два возраста: возраст свободы и возраст определенности.

Возраст свободы называют еще возрастом ангела, и он дается человеку дважды.

Щедро, правда? В начале и в конце… Ты помнишь, когда стихи шли на меня волной — успевай записывай! — мой убогий учитель вдруг обнаружил, что одни из них написаны словно бы женской рукой, а другие — мужской…

Истерика была отменной.

Он ничего не знал о времени ангелов.

Это великое время, когда человек чувствует себя равным Отцу, когда он принадлежит вселенной и не знает дискретности времени, разницы полов и ощущает свою бесконечность.

Возраст ангела.

В начале пути. И в конце.

Он ничего не понимал в стихах, этот учитель. Во всяком случае, меньше, чем твоя кухарка, которая, готовя поминальный ужин по тебе, отвесила подвыпившему по случаю джентльмену:

— Не дело тебе, старый, ко мне под юбку лезть, когда дети уже переженились. Нянчиться готовься, а то, ишь, взыграло.

Грубо, но верно. Всем бы помнить.

«…Есть время любить
И есть время
уклоняться от объятий…»

…Темнеет, уходит в звездную бесконечность твой Кабинет. И уже я, вслед за тобой, подумываю о ските.

Санкт-Петербург

ПУШКИН И ПЕРЕСТРОЙКА

Видимо, все мы однажды приходим к этому. Сначала весело, вскользь отмечая легкость, с какой пишется, словно записываешь, а не создаешь из ничего – смутных впечатлений, воспоминаний, мелькнувшего обрывка чьего-то лиц, поворота, смеха.

Тебе всё просто и легко, как дыхание на берегу летней реки в ранний час, когда совсем некого опасаться.

Господи! "Опасаться"!

Ты и понятия такого не знаешь. Оно тебе ни к чему. Потому, что ты – Дитя мира, нет больше – Дитя Вселенной.

Тебе дали урок, и ты его исполняешь, хотя поначалу, в далеком-далеком детстве ты думал, что зря это Он выбрал тебя.

Всё легко и просто и всем понятно.

А потом потихоньку, как из грибов-поганок вырастает вокруг тебя стена.

И ты, бежавший всегда мимо и вообще не знавший, что это может возникнуть, вдруг замечаешь ее.

– Гатчинцы! – кричала навстречу нам Мария Петровна. – Гатчинцы приехали!

И тянула к нам руки, чтобы обнять каждого, потому что ходила уже с трудом, но в кресле сидела, красиво, не теряя осанки, которой обучали всё их поколение.

(Меня тоже этим помучили.)

Она произносила само слово "гатчинцы" так, словно прорвались к неубиенному еще Павлу Петровичу его верные гатчинцы.

Мы с ней вдвоем сразу переходили на французский – это было просто и естественно. Я даже ни разу не задумывалась над тем, что она, из-за расстрелянного супруга своего Трахтенберга пробыла столько лет в лагерях. что прошло в ее жизни уже две страшных войны, и только совсем недавно ей, правнучке Натальи Николаевны Ланской, урожденной Гончаровой, а в первом замужестве Пушкиной, разрешили вернуться в Ленинград и поселиться с сыном в одной из комнат большой коммуналки.

По всегдашней, потерянной нынче, привычке девичьих, мы успевали обменяться кучей новостей о бурно живущей коммуналке, о том, что все еще заходят к ней из музеев и всё еще интересуются ею, правнучкой Наталии Ланской, – той самой, супруги великого А.С. Пушкина.

Как врос Александр Сергеевич в семью Ланских – речь особая. Главное – врос.

Я люблю Пушкина, не как поэта.

Я люблю его как удивительное существо, голос которого мне иногда слышался, тень которого я видела в Петербуржских садах.

Я люблю его не как родственника, коим он мне никогда не был.

Люблю как блестящее, великолепное существо, коих так мало на земле Бог поселил.

Но и это не все. И не вскользь. Завтра, завтра, завтра!

Потому что совсем недавно я узнала, что последний прямой потомок А.С. Пушкина (по первой мужской линии) покончил с собой.

Совсем недавно. Во время перестройки – в 1992 году.

Его тоже звали Александром.

А горушку в Вильне, где было их именьице (больше музей, конечно), все называли Пушкиновкой, потому что там жил сын Пушкина и его сын…

Но самым страшным для меня было услышать, что он не смог жить в "тихом" благополучном Вильнюсе изначально православном, потом сменившим веру, а потом вляпавшимся в "перестройку".

Vilnius – Санкт-Петербург

СМОЛЬНЫЙ

1.

…В его коридорах никогда не было ни шумно, ни суетно, а временами за внезапным поворотом открывалось неожиданно-узнаваемое: три ступеньки вниз, уютный закуток под лестницей, с креслом и столиком.

И можно посидеть в полумраке и тишине, послушать старый, столько переживший Дом.

Шаги приглушены старой ковровой дорожкой, в центре притоптанной (не сказать протертой!) сотнями чьих-то подошв, но еще сохранившей остатки былого когда-то цвета – благородного темного бордо.

Я любила пробегать по коридорам Смольного – узким, длинным, извилистым, с чем-нибудь обязательно внезапным за поворотом.

Не то встречей, не то уютными креслицами, в которые можно усесться и пощебетать…

С кем? Не знаю. С кем-нибудь из смолянок, конечно!..

Не все же ушли, не все растаяли…

Уже не стало Одоевцевой, рассказывавшей мне о русских в эмиграции:

– Бальмонт… Он так страдал, что некому было читать. Не для кого. Читал стихи в ночь, звездам…

Жили скверно. Но все-таки, когда приехали, все были рады.

Бунин, Леонид Андреев, Гумилев, Анна… «Цех поэтов». Я тоже – член «Цеха поэтов»…

Мы так боялись Гумилева, что ходили за ним как собачки.

Она смеется. Ей около 90, и они для нее все живы. Они все живы, пока она может писать о них. Рассказывать о них.

– Николая Гумилева? – изумленно переспрашиваю я.

Он убит в 1921. В августе 1921 он уже был убит.
Семьдесят лет назад!
Целый век человеческий!
Не о нем ли Анна Андреевна сказала:

Не бывать тебе в в живых,
Со снегу не встать,
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.

А для Одоевцевой он жив. И вздрагивает Ирина Владимировна по совершенно другому поводу и произносит извиняющимся тоном – тоже по другой причине:

– Да, Гумилева! Мы называли друг друга по фамилиям…

– Мы тоже, – радостно подхватываю я, удивляясь этому совпадению чуть не через сотню лет.

Совпадению, за которое совсем не надо извиняться.

– И мы тоже обращались друг к другу по фамилиям!

Это было так естественно.

Но как к нам, через два поколения, могла перекинуться эта традиция дворянских девочек? Не знаю… Мы никогда не задумывались над этим.

Мы даже не знали, что это – традиция смолянок!

Мы многое не знали. Бабушки и матери берегли нас.

…Да, не стало ни Одоевцевой, ни Ахматовой. Но здесь, в старых коридорах Смольного, я

слышу их, юных смолянок, слышу, словно своих одноклассниц, я знаю, они здесь, только ушли ненадолго. И скоро вернутся.

И "шоколадницы", получившие прозвище по цвету шоколадной коричневой формы, и малышки в ангельски голубых форменных платьицах, и девочки постарше – в серых, жемчужных…

И мы носили "шоколадную" форму!

Я знаю эту форму, ее цвет, ее охранность, ее высоту: нам еще далеко до белых выпускных платьев, но шоколадные мы уже носим!

2.

Мне всегда было уютно в этих коридорах. Нарусова, супруга человека, носившего фамилию первой

своей жены – Собчака, публично призналась как-то, что Собчак не мог долго находиться в Смольном – начинала болеть голова.

Болела так сильно, что ему хотелось поскорее сбежать отсюда, куда глаза глядят… Смольный не принимал его, давил.

Собчак в Смольном задыхался.

Помню, признание это удивило меня. В Смольном? Задыхаться?

Впрочем, и я видела кабинеты-кельи, набитые испуганными, словно чуждыми этому Дому, клерками, сидящими чуть ли не на краешках стульев, словно осознающих себя временными, пришлыми… Но так было далеко не всегда.

Есть у старых петербуржских домов странное свойство – одних принимать, другим отказывать в гостеприимстве. Есть…

Царем Петром широко, стремительно, зная куда и зачем, проходил по коридору Смольного могучий Яковлев – светлый, улыбчивый, целеустремленный. Губернатор Санкт-Петербурга.

Смольный распахивал ему свои углы и закоулки, принимал, словно главу Попечительского совета.

За Яковлевым серой шайкой толпилась челядь, семенила, стараясь не отстать, не пропустить, присутствовать.

Яковлева сменила Женщина-Праздник. Ей было не до прозы жизни, пока взбунтовавшийся город не стряхнул с себя тяжелый, похмельный, разрушительный дух.

И вернулся в Петербург наш генерал-майор, насмешливый, прямой, четкий. И принялся расхлебывать беды города, оставшиеся от затянувшихся "праздников"…

Кое-кто из прежних "сатрапов" почувствовал, что запахло под вороватыми хвостами паленым.

И ринулись облаивать нового Губернатора, да обкусывать.

Был бы человек, а грязь найдется, как говорится в старой местной поговорке…

На время я забыла о Смольном. Тем более, что за свинцовые эти 90-е было убито и умерло столько близких, что ни опомниться, ни оглянуться не было сил.

А тут позвали меня на концерт. Своеобразно позвали:

– Будешь мимо, заскочи в Смольный собор, купи билеты. Концерт там будет. Надо бы сходить.

– В Собор? – не поверила я. – Так что, там все еще дают концерты?

– Ну да! Заедешь?

– Ну, ланны…

Первый и последний раз мы были в Соборе, окормлявшем когда-то и воспитанниц Смольного института, и Мещанского училища, и жительниц Вдовьего Дома, чьи мужья-офицеры погибли на фронтах, защищая родину, – говорят, чуть ли не 6 000 человек могло одновременно укрыться под охранные своды белого Собора! – со старшей сестрой.

Сестра, жившая на Черной речке, сломала меня одним аргументом:

– Надо же восстанавливать Собор Смольного! А для этого нужны деньги. Вот они и дают концерты духовной музыки. Никакого кощунства!

Мы вошли с ней в огромный пустой зал. Белый, высокий. Казалось – до неба.

Поперек Собора тянулись длинные ряды простых деревянных скамей.

Не снимая пальто, мы прошли в центр, сели.

Помню только, что слушалось легко.

И не отпускала мысль, что скоро пустые стены покроет волшебная роспись, вернутся сюда иконы и Святой Дух. А с ним – молитва.

3.

…На этот раз все здесь было иначе. Высокие занавесы – серо-голубые, складчатые, – отгораживали от зала искусственно образованный вестибюль.

Сумеречные охранники, гардероб, столик, за которым чаевничали две женщины, всем видом демонстрируя свою крутую занятость.

Касса с ледяной кассиршей, лицом напоминавшая китайского болванчика…

Внезапно ворвалась стайка ребятишек с красивой усталой учительницей, все пересчитывавшей беспокойными глазами ватагу своих птенцов – не потерялся ли кто?

Женщины, пившие чай, резко поднялись навстречу ребятишкам, словно в атаку бросились.

– Билеты где? На всех есть? Сколько их у вас?

В голосах – армейские нотки, в позах – вызов.

Надзиратели.

Смешливая юность, смущенная приемом, рассыпалась горсткой, скрутилась в клубок. Перешептывалась…

Учительница показывала теткам какие-то бумаги.

– Все в порядке! – сказала, наконец, одна из них. Можете идти наверх.

– А что там? – внезапно спросил мальчишка лет 13, указав наглухо – сверху донизу – плотно закамуфлированную, как блиндаж, стену из тряпок, отделявших "прихожую" от "зала".

Одна из женщин, прежде пивших чай, отогнула краешек безмерной портьеры, словно отвела в сторону край цыганской юбки, за пышностью которой ничего не было видно.

Спросила с издевкой:

– Красиво?

– Шторы мы и в школе каждый день видим, – пожал плечами мальчик и бросился догонять одноклассников, которые уже исчезали за правой отвилкой из вестибюля, откуда начиналась лестница, ведущая на колокольню Собора.

– Действительно, а можно посмотреть, что там, за этим занавесом? – спросила я.

– Через несколько минут будет плановая экскурсия. Вы можете присоединиться к ней, если купите билет.

Ну, что ж!..

Минут через 15 появилась подвижная суетливая смуглая женщина, экскурсовод, обутая во что-то среднее между якутскими ичигами и носками, почти босиком.

Потом вошла стайка экскурсантов. Несколько минут заняла уже знакомая мне процедура – разборка по числу билетов, оплат-предоплат…

Наконец занавес раздвинули.

Нет, прежних простых деревянных скамей не было.

Все пространство Собора занимали бесконечные стулья.

Даже за колоннами, из-за которых невозможно было увидеть, что происходит на сцене в центре собора, стояли стулья, стулья, стулья…

Одинаковые, как таблички на кладбищах с шестизначными номерами, под каждой из которых – прах НМ или НЖ – неизвестных мужчин, неизвестных женщин…

Каждый сантиметр собора Воскресения Христа-Спасителя при Смольном монастыре, – Соборе всех учебных заведений Российской Империи – каждый его сантиметр должен теперь приносить "бабло" новым хозяевам жизни. С каждого стула – по дани!

В правом углу, за тесным стадом стульев – тонкой веревочкой огороженное запретное, очерченное

пространство. Капельное, крохотное в гигантском Соборе.

В полумраке различаю лики икон.

– Что это? – изумленно спрашиваю экскурсовода.

– А это у нас иногда, раз в неделю обычно, теперь службы проводятся…

– Слава Богу, – говорит кто-то рядом. – Слава Богу.

Я отхожу в сторону. Мне не интересны фотографии какого-то заморского гостя, ради которых устроена в Собор Смольного монастыря эта экскурсия.

Она мне не интересна!

Я смотрю на белые, пустые своды, уходящие в поднебесье, этажи сводчатых окон, зашторенные все того же грязно-голубого тона занавесами, – а ведь сквозь эти сквозные окна по утрам летнее восходящее солнце вздымало собор на своих лучах, показывая городу и миру, какая красота есть на русской земле, какая неземная красота!

– Зачем вы повесили эти шторы? – спрашиваю экскурсовода. – Зачем?

– Да, вот, – она смущена. – Вы правы, когда здесь были хрустальные колонны, солнце играло в них. Нигде такой красоты не было… Но колонны растащили. По частям. Несколько хрустальных балясин обнаружили в антикварных лавках… А так… Все растащили… Вот, шторами решили прикрыть…

– А иконы? Где все иконы?

– Их нет, – тихо говорит женщина. – Нет ни одной. Сохранилась единственная, главная икона этого храма. Храма Воскресения Христа Спасителя. Но ее за-

брал Русский музей… На ней – Богородица и смолянки. Отхожу в сторону, снова смотрю на голые стены, своды, высокое пустое, нет, – кричащее пространство.

В полумраке, высоко-высоко сквозь объектив кинокамеры отчетливо вижу следы пуль, не затертые щербинки в стенах, следы рикошета.

Опускаю камеру.

И уже простым, невооруженным глазом вижу, что стреляли по стенам, прицельно – по лепнине, иконам, ангелам…

Сбивали, крошили, убивали…

Тихо шелестит голос экскурсовода.

Я закрываю глаза и вижу, как врывается в храм с хрустальными колоннами "революцьонная" пьянь, как сыплется со стен штукатурка, разлетаются в щепы святые икон…

И сквозь весь этот грохот, выстрелы, взрывы, грубое солдатское ржанье я слышу, как прорывается, бьется о стены, уходя в поднебесье высоких – самых высоких в Петербурге! – куполов Смольного собора отчаянный девичий стон, переходящий в сплошной вселенский, космический крик ужаса…

…Мы не пошли на концерт в расстрелянный Собор.

Мы больше никогда туда не пойдем.

Никогда!

Санкт-Петербург

ВЕРЕСКОВАЯ ПУСТОШЬ

И слепым полозом, и ужом безногим, и колдовской брадминой вилась, выкручивалась из горя своего. Да не пускает оно от себя.

И объехали мы за полдня весь Санкт-Петербург. Все его незабываемые, горячие для русского сердца точки отметили, – кто быстрым взглядом, кто, прикрыв веки – с детства знакомо всё: и Медный Всадник, и стрела Петропавловки, и пустота над горбатыми мостиками у Летнего Сада – ух, как замирало в детстве сердце, когда со всего размаху вносило тебя в невесомость над Невой! И тут же, новое, из времён нынешних, изумление – коварное, быть может, с подковыркой:

– Не та решётка-то! Только от ворот кое-что ещё осталось, а вот дальше – не то…

И отгоняешь плохие мысли, и едешь, кружишь дальше, и ноябрьский туман окутывает и Город и твою истину, когда в последней ее инстанции, спрятанной в глубине верескового дворика, в двух шагах от Исаакия становится тебе вдруг ясно, как Божий день: никто и не рассчитывал, что у тебя будет время на это!

Время! И силы!

"НЕ–БУДЕТ–ИХ–У–ТЕ-БЯ!"

Так они решили, клубясь змеиными свадьбами в предчувствии нового лоха, нового барыша там, в потаённой глубине скрытого в самом центре Золотого

Треугольника от всех глаз дворика, в тихой глубинке, укутанной облачками нежно сиреневой сахарной пудры – роскошным, невиданной мною прежде красоты, вереском.

"И–ТЫ–ВМЕСТЕ–С–СОТНЯМИ–ТАКИХ–ЖЕ –ОТПРАВИШЬСЯ– В–БЕЗЫМЯННУЮ–МОГИЛУ..."

Они решили это за нас с тобой там, в вересковом уголке-пустоши. Давно, еще когда мы вынужденно покупали квартиру на Фонтанке, и нас было двое.

Кто они, те, кто решил это за меня в вересковом уголке-пустоши, где едва ли душу человеческую отыщешь! Не собака же Баскервилей! Да и что может решить собака? Черный риелтор, черный нотариус, черный вереск...

Я вхожу и говорю:

– Надо уточнить.

И чёрный злой взгляд метнулся по всем углам, не задев меня, и спрятался, как жало старой кобры: поняла – что-то уже поздно.

Но разве это сиюминутное паникерство что-то изменит в таком деле и в таком характере, спрятанном в сердце роскошных вересковых зарослей?! Понимаю, что ничего. Я для них не человек.

Я – легкое средство заполучить квартиру в самом сердце Петербурга.

Средство, которое вдруг проросло сомнительной помехой.

Нет меня тут для них, в тиши вересковых роскошных зарослей, нет помех. Быть не может!

Это где-то 90-е – позади. Не в Питере. Я понимаю это.

Гнездо Баскервилей. Нет, – топи за вересковой пустошью, куда тебя так умело завлекли, поманив миражом надежности: здесь не обманут.

И потребовался чуть ли не целый день, который украли у тебя, игриво изображая бурную деятельность, откровенно наслаждаясь видом того, как ты слабеешь, как боль переламывает тебя, и тебе всё меньше удаётся скрыть это.

День они держали тебя в своем змеином гнездышке, в будке собаки Баскервилей, чтобы в конце сказать;

– Ну, всё. Идите! И три месяца мне на глаза не показываться!

И всё стало ясно.

Перехлест.

Не вам мною командовать.

Перехлест.

Какой чистый туман сегодня над Санкт-Петербургом! Одних омоет, других утопит.

И думаю, что надо что-то делать…

В 90-е погибли почти все наши.

Почти все.

Но, может быть, кто-то остался?

Санкт-Петербург, 2017

СЁСТРЫ

– Ну, здравствуй! Как поживаешь?

– Ты знаешь.

– И все-таки, расскажи. Я теперь все время буду с тобой.

– А где ты будешь жить?

– Я нашла. Ты не волнуйся.

–Знаю-знаю! Волноваться вредно!»

– Плюнь. Все полезно. Расскажи, как ты?

– Ты все знаешь. Что я могу рассказать?

– Я ни-че-го не знаю. Рассказывай. Все-все.

– Ты знаешь, всю последнюю неделю сентября я просыпалась с ощущением потери невероятно счастливых дней.

– Потери?...

– Нет-нет, ты не подумай, что это плохо, нет. Я не огорчаюсь. Я, наоборот, радуюсь.

Меня просто омывает какая-то тихая, ласковая радость. Ощущение счастья, наверное, понимаешь? Улыбаешься. Не веришь? А я словно бы находила их, и все эти, нечаянно найденные вдруг дни, были моими. Я сама прожила их, понимаешь? И ни один из них не был похож на другой. Рассказать?

– Конечно!

– Ну, слушай тогда! Был – день-бабочка.

Яркий, цветной, порхающий – все переменчиво, подвижно...

Неуловимый, неприкасаемый…

Ты это знаешь: прикосновение может испортить пыльцу на крыльях. И бабочка тогда не сможет летать и умрет. Так говорят.

Поэтому я не брала в руки даже акварель, чтобы не испортить пыльцу этого чудного дня…

Ну, вот, ты улыбаешься. Не веришь, что ли?

– Верю-верю, конечно. Ты рассказывай, Машенька, рассказывай!

– Ты понимаешь, день-бабочка пахнет соснами, травами, заливом. Ты помнишь, как пахнет наш залив? Ну да, ты недавно была там, я получила эсэмэску. Ася, он, этот день-бабочка, пахнет лесным прогретым летом, не знающим ни бетона, ни асфальта…

И бледное, до легкой синевы лицо Младшей – так прозрачна ее кожа – светится радостью.

– Ну-ну, ты рассказывай, – говорит Старшая и отводит глаза вверх, в небо, словно увидела в нем чайку.

– Или вот, день-загадка… Черные резкие чернильные полосы, вдоль и поперек, кругами-квадратами по всему дню-ребусу, когда вдруг ни-чего не понимаешь… Так дети, совсем маленькие дети – рисуют на бумаге что-то свое, неосознанное, не выдуманное… Ты правда не спешишь?

– Нет-нет. Рассказывай!

– А вот, день – радость. Ничего-ничего не болит, понимаешь? И, кажется, что с самого утра можно так много хорошего сделать…

И все эти дни – в теплом-теплом свете, потому что нам сменили белые шторы на золотистые, и из-за этого никогда не знаешь, какая на улице погода.

Солнечно. Всегда! Всегда солнечно, понимаешь?

Старшая кивнула. Они помолчали.

– Ты знаешь, – тихо, почти шепотом, сказала Младшая. – Мне снятся плохие сны. Все время. Одни и те же… Всегда немного по-разному, но одни и те же.

Мне снятся могилы, как квадратные комнаты из сырых досок, плохо оструганных, сырых, не просохших…

А в последние сентябрьские дни сны эти больше не приходили!

Зато я теперь знаю: есть художник, невидимый.

Это он зарисовывает мне по утрам пропущенное лето. Наверное, для того, чтобы я больше не думала о том, что это лето само меня просто выбросило. Обошлось без меня. Но оно же было?!

И дни-бабочки, и все те, что я вижу по утрам… Ася, я глупая, да? Не было лета? То есть оно было, но…

– Ничего, – сказала старшая сестра. – Следующее лето мы не пропустим, хорошо?

***

Хоронили Машеньку на излете зимы, когда почти всюду еще лежал снег, и гробовщики ворчали, что земля не оттаяла и надо бы добавить денег…

Санкт-Петербург

(Впервые опубликовано в "Литературной Газете", Москва.)

ДЕНЬ-КАМЕНЬ

(Вчера Санкт-Петербург проводил
в последнюю дорогу кинорежиссера
Алексея БАЛАБАНОВА-старшего.)

День, как камень. Лег посреди моей жизни. Не той прежней моей серьёзной жизни, а этой, нынешней, что ложится строчками на листки Дневничка, и началась-то всего-ничего 10 февраля 13-го года.

Камень.

Не обойти, не объехать.

И где он, этот Углич?

И Колокольня Счастья по дороге к нему, если выехать из Петербурга и всё по дороге налево?

До вчерашнего дня я ничего и не слышала об этом. И знать–не знала.

И в Князь-Владимирском не бывала прежде.

Хоть и говорила мне старшая сестра, что Князь-Владимирский – лучший храм в Петербурге.

Ну, так она жила неподалёку – на Чёрной Речке.

А я – у Спас-Преображенского. И тот был мне ближе и теплее.

А Князь-Владимирский - он аж за Невой!

Ездила мимо. Даже пробегала по каким-то делам. А не заходила.

Колокольня отпугивала, что ли?

Очень уж высокая, несуразная какая-то. Торчит в небо. За ней и храма не видно. Так мне казалось. И голоса её я не слышала ни разу.

До вчерашнего День-Камня.

***

Да, кофе совсем остынет. Надо передохнуть.

***

Тяжёл камень-то оказался.

Разве что подпрыгнуть, да перелететь.

Но, вот, крыльев Бог не дал. И перепрыгнуть нельзя.

Сколько дней так вот, по лени ли, по важности ли других мелких делишек кануло бесследно в Лету?

Множество.

***

(Вчера, по дороге домой, надписи на асфальте читали, а чтобы прочитать, протанцевать пришлось – так хитро закручены были мелками на асфальте слова-то. А слова оказались чистые. Целомудренные. Без мата. А танцевать заставили. Во, мудрёный художник-то какой в Аничковом Дворце поселился!)

***

Каштан за окном колышет белыми шапками.

Вчера с утра ветер был. И газон от цветков осыпавшихся – белый весь, как в снегу…

***

(И голая девушка бежала в снегах лютых…

Россия бежала. Босая. Голая. Измученная. За счастьем бежала.)

День-Камень…

Карлуша прокричал. Видимо, солнце восходит. За домами ещё не видно, но Каштан уже шевельнулся, ветвями повёл. Опять цветы осыпаться будут. Так жалко их. А особенно жалко, когда на месте цветочков, гроздьями-свечами в небо рвущихся, появятся крохотные, с горошинку, колючие зелёные детки.

А потом опять рванёт из-под арки северо-восточный ветер, и начнут падать они на землю. И так жалко дерево, теряющее детей…

"Спасибо, что пришли", – сказал он вчера.

И ничего не добавил.

Это уже вечером. Когда стемнело, и ночь накрыла город, и все домашние собрались в гостиной у телевизора посмотреть его фильм.

«Спасибо, что пришли».

И так прозвучали эти слова, будто он нам, только что проводившим его на тот свет, спасибо сказал…

А до этого был полдень. Ясный чистый. Ни облачка на небе. И Вифлеемские яселькu у стены Князь-Владимирского. И пасхальный свет на всём.

На юной листве, проклюнувшихся маргаритках, зеленой-зелёной траве…

И прощальная поминальная панихида по Алексею Балабанову, по Мастеру – в храме.

И поющие голоса.

И свет.

Так странно хоронить людей в Пасхальные дни. Светло как-то.

Все в чёрном. Или почти все – не знаю. Не глядела.

Женщина плачет. Долго беззвучно. Давно. Значит, отойдёт.

Раз плачет, значит отойдёт.

Плохо, когда слёз нет. Без слёз с ума сходят.

Тихо, незаметно так сходят. А возвращаются редко.

Но это уж – как Бог даст.

Редким даётся это благо. Когда есть, зачем, видимо…

Отпели молитвы. Покадили ладаном. Не щедро. В Александро-Невской Лавре ладана не жалеют. Но там монахи служат. Они чин-то больше чтут. Им положено так.

Странно, но свеча в руке моей не обжигает. Горит тихо, ясно. А капелек воска нет…

***

Вот и отслужили батюшки. Пригласили прощаться.

Народ пошёл по кругу – вдоль гроба, огибают, приостанавливаются.

Редкие целуют в лоб, некоторые – иконку со Спасом у сокрытых рук лежащего.

Иконка маленькая–маленькая.

И гроб.

Спрашиваю:

– Почему гробик-то такой маленький, почему?

Многих хоронить-то пришлось в кровавые нулевые.

Ребят, как косой, косило.

Многих пришлось провожать.

Сначала – в апреле 2000 – убили Антошу.

Через два года – Сашу.

Потом Виктора, Игоря, Прохора… Проше-то было всего 16. Сын священника. За то и убили.

Саша был самый старший – 42. Доктор Романов.

Из того несчастного рода…

Отец его Михаил Романов через два года тоже ушёл вслед за сыном. Сердце не выдержало.

А его ребят, ребят того, кто лежит сейчас в гробике – ребят Алексея Балабанова – земля схоронила. И Серёжу Бодрова, и тех из съёмочной группы, которые были с ним в тех проклятых горах…

Земля.

День – Камень.

Наверное, весь «Ленфильм» сегодня в Князь-Владимирском. И «Мосфильм», если он ещё есть.

Петербуржцы с москвичами перемешались. Сколько красивых лиц! Особенно женских. Наверное, потому, что такая красота привораживает, глаз невольно цепляется.

Удивило – многие мужчины моложе, чем на экране…

Прощаются… А один не пошёл мимо, вокруг. Остановился, склонил седую голову к иконке.

Лицо – свет, любовь и вселенская бесконечная доброта.

Только у одного человека в этом мире такое лицо – у Никиты Сергеевича Михалкова. Добрый человек – свободный человек.

Подхожу и я. Прощаюсь. Вижу – как он не хотел умирать, Господи!

Как не хотел!

– Всё будет хорошо. Всё будет хорошо.

Крещу его, осеняю себя. Повторяю как молитву: "Все будет хорошо" .

Повторяю, потому, что вижу, как он не хотел умирать…

– *Спасибо, что пришли.*

(Спасибо – от «Спаси Бог». Забыли мы это? Спаси, Бог…)

Вышли из храма.

Плакали красивые женщины. Каменели мужские лица…

И вдруг подала голос Колокольня Князь-Владимирского.

Небесной красоты голос…

Небесной.

И – камнепадом по голосу соборного колокола – хлопки в ладошки.

Женщина рядом зажала ладонями уши.

Я онемела.

А они рукоплещут, и рукоплещут, забивая могучий голос колокольни Князь-Владимирского собора…

Что это? Актёрское фиглярство? Язычество? Что ж вы на паперти-то в ладошки хлопаете?!

Обычай такой? Не перекреститься, а застолбиться?

Да…

…После зашли мы в какой-то небедный магазинчик. За хлебом.

Молоденькая продавщица советует:

– Покупайте итальянский!

– Почему итальянский?

– А он пышный, мягкий, воздушный!

– А что, русский-то хлеб – не пышный?

– Нет, что вы! Он тяжёлый плотный, как глина. Вот итальянский…

– Значит, русский хлеб плох?

– Что вы, конечно! – сияет продавщица. – Итальянский берите!

Покупаем.

Хлеб, действительно вкусный.

Значит, выросли люди, которые не знают вкуса русского хлеба?

А вечером, точнее, ночью уже, смотрим последний фильм Алексея Балабанова: «Я тоже хочу».

Про Колокольню Счастья.

И бежала по снегам голенькая, замученная девочка – Русь. Бежала к счастью...

***

Ну вот, позади этот *День-Камень*.

Уже на шажок я по ту сторону, что ещё несколько часов назад казалась недосягаемой.

***

Сухая трава вокруг. Колючая, высушенная дождями, ветрами и солнцем.

Присела.

День-Камень за спиной. А уйти не могу.

Теперь и не камень это, а большой прозрачный куб, в котором всё ещё так явственно и ощутимо – вчерашний майский *порубежный* день, когда переходило Солнце по своему зодиакальному кругу из созвездия Тельца в созвездие Близнецов и когда, отпев в Князь-Владимирском, похоронили Алексея Октябриновича Балабанова на Смоленском кладбище.

«У Ксенюшки», – как говорят у нас.

Сижу на сухой траве. Впереди – до горизонта – заброшенное сухое поле. Ни травинки, ни кустика.

А за спиной вчерашний день.

С небывалой невероятной синью неба над белым собором, вертепом с фигурками Новорожденного, Девы Марии и волхвов… И панихидой внутри храма, заполненного людьми в чёрном, траурном…

Он сумел оставить завещание. Попросил не устраивать скоморошества – никаких гражданских «панихид».

А отпеть велел в храме – в том же, где отпевали его отца. И похоронить там же, где лежит отец – «У Ксенюшки».

Туда, на Смоленское наше кладбище, приводил Немец Данилу Багрова:

– Здесь предки мои лежат…

Просил похоронить без фокусов, без фиглярства.
Жил всерьёз. И ушёл не понарошку.

Но это всё не то. Я – о другом. О чём-то недосказанном про *День-Камень* хочу вспомнить.

О чем?

Ускользает. Не дается…

Перед службой в храме вдруг где-то, совсем близко, запел, защелкал соловей.

Да…

Соловей. И мы слушали его в этом году впервые.

Дворцовый мост накануне приоткрыли.

Его ещё ремонтируют. Нам повезло…

Не то.

Вечером, когда солнце уже ушло за Исаакий, к заливу, тени правобережных домов перекинулись через Фонтанку, отложились на домах напротив, чуть не до третьего этажа.

А на верхних этажах и мансардах было солнечно. Словно позолотило их. И отражение это чудесным образом струилось в водах Фонтанки.

И казались они отлитыми из бронзы...

И очень странная Луна повисла над левобережьем Фонтанки.

Выпуклая, щекастая, с острым подбородком смотрела она с бледного неба, словно обернувшись на бегу в пол-оборота на Петербург, огромными спокойными глазами.

О чём же я не дорассказала, чем поделиться хотела?

О вечном и временном.

О пересечении временного и вечного – когда происходит это, высекается крест.

Одни видят его. Другие – нет. Потому и рукоплещут, забивая голос колокола…

Так что же, что же я там увидела, в том *Дне-Камне*, когда прощался с нами Алексей Балабанов? Что хотела передать?

Не помню…

Затих пёс на первом этаже. Три дня выл. Устал, наверное. Его часто оставляют одного, и он всегда воет. Такое у него хобби. Поднялось солнце над Городом, ветер усилился, и посыпался с каштана за наши-

ми окнами белый, как снег, цвет. И уже земли под ним не видно.

Белый, как снег… ***Колокольня!***

Вот, о чём я хотела сказать.

Колокольня Князь-Владимирского собора, которую я столько лет стороной обходила.

А он шёл к ней.

С тех пор, как потерял отца.

С тех пор, как с её высоты неземной голос Князь-Владимирского колокола отпел, отзвонил панихиду по его отцу Октябрину, к которому ушёл теперь он, сын его Алёша.

"Колокольня Счастья".

Так он это назвал?!

Не потому ли в конце службы так светло было лицо настоятеля? И лицо Никиты Сергеевича, склонившегося над гробом и погружённого в прощание, не было ни опрокинутым, ни убитым.

И свечка не капала, не жгла руку, хоть я и забыла – не захотела! – взять листок у отчуждённых от всех нас, пришедших в храм, занятых собой тёток-свечниц.

И голос Колокольни Князь-Владимирского собора, хоть и забиваемый тресками скоморошьих хлопушек, был мощен и широк, как голос Неба.

Не его ли искал он?

Санкт-Петербург

ЭЛЬФИЧКА

Лучше бы проспать мне это утро до вечера, глаз не раскрывая, и пусть думают, что хотят: выходной взял я себе на всю эту среду.

День особый, неурочный для выходных, да вон уже



и голос матери с кухни слышен. Не голос, а смех, точнее сказать. Потому, что не говорунья она у нас. А так, вдруг остановит на тебе глаза-то свои колдовские, не скажет ничего, а ты уже и так всё понял. Без слов. Стоп!

Вот, оно, из-за чего просыпаться не хочется мне сегодня, в людской шум идти, вот оно: глаза колдовские…

Видел я однажды такие. Тоже, как многие, чуть не пропал в них, как в омуте. В смысле буквальном говорю. Да отвело что-то…

А работали мы тогда в Саянах, искали то, что вслух и не величали – так, иносказательно: наш металл.

Это кто не знает, что такое поиск, вряд ли что поймет, потому и рассказывать о том не буду.

Скажу только, что отряд был большой, делился на крупные самостоятельные части, и каждому начальнику такой части выдавался на базе фрагмент карты с планшет величиной – ни конца, ни начала.

Карту мы целиком, где попало, не раскрывали. И только старший в отряде геолог знал, в какой части света бродят по горам да распадкам его люди в поисках невидимому никому "нашего металла".

Тщательно сверялся я накануне каждого маршрута с доверенным мне, простите за вульгарное звучание, огрызком карты, по которому весь божий день народу моему придётся гоняться то ли за тенью, то ли за крутым рыком, который периодически начал возникать в наших наушниках, как только вышли мы на гигантские серо-черные габбро.

Они торчали из земли точеными гранями, словно кто пытался спрятать здесь неведомые никому пирамиды из камня, крепче которого мало, что есть на свете. Кто?

Может, великаны доисторические, может пришельцы, кто ж его знает. Это одному геологу точно известно, отчего испещрена Земля так богато да разнообразно, отчего тут ручеек бежит, а там горушка взметнулась.

Так вот, вместе с этими макушками пирамид появились у нас в отряде существа изящные, небывалые.

Особенные, прямо скажу. Таких и в городе не всегда встретишь. Прячутся, наверное, от людских глаз в теремах особых.

Появились целевым образом – забросили их, как говорилось, по крайней мере, вертолётом из Тулуна – для более тонкой разведки.

Смотрели они на нас – а, может, это нам казалось, что смотрели, как-то нездешне, словно сквозь человека что-то видели, а самого человека им и ни к чему заметить.

Мужики сразу перешепнулись, приказано, мол, эльфиц этих небесных за женщин не считать и лучше не пялиться на них попусту. Проверят, настоящая ли у нас находка, да уедут – особый это десант у нас. И беречь их, как зеницу ока, не то…

Народ у нас бывалый.

Даже Петрович, человек молчаливый, только с лошадьми и беседовал всерьёз – весь обоз был на нем и кони только ему доверяли, даже та, из-за характера которой даже имени ей дать не решились, словно предчувствовали что. Но это – особая история.

Так вот, даже Петрович по-своему отозвался – хмыкнул. Народ у нас собирался таёжный, про "не то…" хорошо знал.

Итак, о чем это я? О глазах-омутах.

Не попадал в такие – твое счастье. А, может, они и перевелись уже все? Не знаю.

Только дело было так. Жили они в своей персональной палатке, чирикали не по-нашему и все крутили привезенные с собой изящные приборчики да записывали что-то каждая в свой журнал, да что-то мудрёное вычисляли.

На следующий день я свой отряд на пять маршрутов поделил, на каждый во главу поставил Эльфичку с ее прибором, который каким-то чудным образом связывал ее с нутром земли.

Каким, даже рассказывать не возьмусь, только стоило ей вдруг замереть и поднять руку в зеленой лягушачьей перчатке, как весь маршрут замирал.

А она, опускала кисть руки – отдыхайте, мол, и начинала кружить среди остроганных габбро, прокручивая специальным щупальцем – сантиметр за сантиметром земное нутро.

Так могли часы пройти. Эльфичка наша словно не думала о времени. А я ухмылялся, поглядывая на мужиков, как те боязливо подыскивали себе местечко попривычнее, чтобы посидеть, отдохнуть без последствий для своего мужского достоинства. Народ у нас был, главным образом, молодой, о детках мечтал, вот, и остерегался.

Наконец Эльфичка махала зеленой лапкой отбой, и мы шли дальше, а я по этому ее знаку уже знал – пустое дело. Завтра приди сюда, и ничего не найдешь. Такие коврижки…

И так каждый день. Время было дорого. Пока не начались дожди, надо было немалую площадь обсле-

довать. Потому, что именно отсюда пошел сигнал и именно потому прислали нам этот десант. А с пустыми руками наши небесные эльфицы уехать не могли.

Что и говорить, работать они умели.

Маленькие, юркие, словно ящерки. И словно не уставали никогда. Мужики тоже вида не подавали, что двойные наши маршруты изматывали больше обычных. Цель-то была общая.

Но как-то к концу одного маршрута заметил я, что Василек наш, кудрявый белокурый, после армии только, стал к Эльфичке лишнее внимание проявлять:

– Не помочь ли? Устали, наверное? А что кроме сгущенки ничего не едите?

Услышал я это, подошел.

А она как ресницы-то вскинет. И примерз я, в буквальном смысле приморозило сапоги мои к серым осколкам габбро. Все нутро прожгло. Едва устоял. Еще секунда, и летел бы я над Саянами в Китай и дальше…

А она глаза от меня на Василька перевела. А тому – в радость.

Смотрю, не в себе он будто. Позвал. Не слышит. Глаз не сводит с Эльфички и все говорит, говорит ей что-то.

– Зовут тебя, не слышишь, что ли? – спросила нежнейшим голосом.

А сама смотрит в сторону гор, на закат.

– Заблудились вы, не понял ты, наверное. Вон, старший за тобой пришел.

И махнула рукой в мою сторону.

Василек обернулся, смотрит на меня, а в глазах свет такой, не понять. От счастья, что ли…

А она на помощь мне, тихо так, внятно говорит:

– Переночуете здесь – детей никогда не будет. Это место вы зацепили. Молодцы. Из-за него мы и прилетали. Потом оконтурим, а сейчас - в лагерь!

И поднялась во весь рост.

– Но лучше – на базу.

И на фоне заката, залившего вишневым цветом гребни гор, показалась мне наша хрупкая Эльфичка великаншей.

– Откуда Вы знаете, – спрашиваю, – что отряд с маршрута сошел?

– Заблудился, – спокойно поправила она.

– Да, – признался я. – А Вы… Вы, может быть, знаете, куда идти?

– Знаю, – спокойно сказала она.

– Отряд поведете?

– Если надо, s'il vous plâit!

И пошла.

И песенку какую-то напевать стала.

Я махнул ребятам – пошли!

Зам. мой ворчит:

– Девчонке доверился? Околдовала, небось? Откуда ей знать, куда идти надо?

– А ты знаешь?

Он опустил голову.

– То-то, – подумал я. – Заблудились. Зубры разведки!

Признаться, чувствовал я себя препаршиво. Но надо было успевать за этой девчонкой – не было у нас, мужиков, другого выхода. Не было!

Василек бежал сбоку от меня:

– Николай Александрович, а что они все не по-русски-то?!

– Студентки они, Василек, – говорю. – Вот и тренируются. А к нашему Управлению их, по договоренности с Институтом, в летние каникулы причисляют. После спецподготовки, конечно.

– Вон оно что! А я-то…

Темнело быстро. И Эльфичка повела нас по хребту, подсвеченному закатом, – внизу уже была ночь.

Я шел последним. Чтобы никто не отстал.

Смотрю, остановилась. На меня взгляд бросила. Позвала, значит.

Сгрудил я всех к ней поближе, чтобы не потерять кого. Подошел.

– Смотри вниз, – говорит. – Узнаешь место?

Смотрю, а внизу огни нашей базы.

Не поверилось было. Обернулся на Эльфичку, она смеется:

– Ничего, что на базу привела?

А вокруг мужики скачут, кричат что-то от радости. Видимо, не верили, что Эльфичка знает, куда идти надо.

Встречали нас как героев.

Кормили, расспрашивали. Точно ли сказала Эльфичка, что это именно то, что засек отряд…

Я взглянул на Эльфичку.

Весь стол вокруг нее был уставлен банками со сгущенкой. Из одной она пила, совсем по-детски запрокинув назад голову.

А кто-то приносил ей свою сгущенку – еще и еще…

Саяны – Санкт-Петербург
(Впервые опубликовано в "Литературной Газете")

ЗЕЛЁНАЯ ГУСЕНИЦА В ЗЕЛЁНОЙ ТРАВЕ

Физтехам заоблачных 60-х посвящается

– Напиши про любовь, – сказала Фатя.

– Я никогда не пишу про любовь, – сказала я. – Ты же знаешь.

– А ты напиши! Только про счастливую.

– Попробую, – сказала я. – Фатя, а счастливая любовь бывает?

– Если ты напишешь, будет! – сказала Фатя.

Глава 1. БАЙКАЛ

До Байкала пришлось добираться на каком-то водном трамвайчике, и мне показалось это странным. Всегда думал – отойди пару шагов от Иркутска, и вот он, Байкал.

Я смотрел на гладкую прозрачную воду, вьющуюся белыми валунами за кормой, и вся эта затея – истратить выходные на поездку к озеру – показалась мне в какой-то миг безнадежно пустой.

Наконец, нас довезли до какого-то нужного места, мы сошли по трапу на сухой галечный скучный берег.

В памяти за все часы пути осталась только бледная чахоточная вода да скала-камень – черная, шаманья.

Но даже разглядеть толком нам ее не дали – в планы командиров посудины это не входило. Они просто

перевозили людей из пункта "А" в пункт назначения. И все. Весь Байкал.

Может быть, от парочки этих озерных пиратов заразился я странным сплином. Только вернуться в прежнее состояние, в предчувствие приключения, которое надо обязательно пережить, мне уже не удавалось.

Девчонки резвились, стараясь изо всех сил демонстрировать оптимизм и остроумие. Получалось плохо.

Да и вся эта затея – всем бывшим нашим курсом провести последние перед расставанием почти на год – два дня здесь, в сером, пасмурном от беременных тяжелыми осенними ливнями туч неуютном пространстве показалась мне обреченной.

– Не повезло с погодой, – тихо сказал Игорь, и я промолчал потому, что возразить было нечего.

У кромки воды трое мужиков варили на костре уху.

Кто-то из девчонок сразу подъехал к ним:

– А как насчет гостей? Угостите ушицей из байкальского омулька?

– Присаживайтесь, – откликнулся, не глядя, кто-то из рыбаков. – Кто же к костру не пустит?

– А к ухе?

– Само собой, – ответил мужик и выглянул из-под капюшона рыбацкого брезентового плаща. – Присаживайтесь.

– Вы к кому приехали-то? – спросил другой, мельком бросив взгляд на нашу ораву.

– Да к дяде Косте, – сказал Петр.

– Так ты Елагинских будешь?

Петр засмеялся:

– Верно, дядя Ефрем! Узнал, значит. А это мои сокурсники. Мы сегодня двоих в Москву провожаем, перевели их в ФИЗТЕХ – как гениев.

– Иркутск, значит, тесноват стал?

– Нет, скорее в Москве сибиряков маловато.

Петька белозубо скалился, и не понять было, вышучивает, или так, посмеивается.

– Это да, – сказал дядя Ефрем. – В войну Москву-матушку Сибирь выручала, а уж в мирные-то дни того проще.

Ведро хоть и велико было, но для всех явно маловато.

– Ты, Петь, сходи за ведром к Косте.

– А рыба?

– А что – рыба? Не Байкал ли у твоих ног плещется?

Засмеялся Петр, сказал что-то подружке и исчез.

Зося была девушка серьезная и инициативная, быстро организовала сокурсниц, и счастливо крикнув нам на ходу:

– На сеновале ночевать будем! Всю зиму в Москве вспоминать будете! – пошла со стайкой подруг к длинному, похожему на старый деревянный барак, дому, с высокой, крытой не то корой, не то древней дранкой крышей.

– Пошли сеновал готовить, – сказал Игорь, и в голосе его не было никаких красок. Одни сумерки.

И тут мы увидели зрелище. Бесшабашная наша Зойка, стоя у кромки Байкала, разулась и принялась стягивать с себя узкие, в облипочку, джинсы, что удалось ей не без видимого напряжения, сбросила их к кроссовкам, оставленным выше по берегу, скинула штормовку и свитерок и в одном нижнем бельишке бросилась в ледяной Байкал.

– Наклюкалась уже, – холодно произнес Игорь и отвернулся.

Рыбаки и усом не повели – не их, мол, дело за городскими девками присматривать, а подружки только подзадоривали, пытаясь горячо отговорить.

День гас стремительно. Народ потихоньку все веселел.

– Тебе не кажется, что нам пора? – спросил я у Игоря.

– Пожалуй, – сказал он. – Тут и без нас замечательно.

– А как же рассвет над Байкалом? – неудачно съязвил я.

– Не в этот раз, – отрезал Игорь.

До Иркутска нас довезли быстро и без приключений. Попутных машин оказалось немало, и я подумал, увидев огни родного дома, что хоть с этим нам повезло.

Но если бы!

Если бы дано было человеку заглянуть хоть на несколько часов вперед, кто знает, отказался бы я от

перспективы проваляться всю ночь на чьем-то холодном сеновале, или нет. Кто знает…

Иркутск встретил нас метелицей золотых тополиных листопадов, оглушил звучавшей ото всюду чувственной, горячей музыкой, она смешивалась с неповторимым запахом флоксов, георгин, астр, хризантем, белой резеды, окаймлявшей газоны, клумбы, балконы домов…

Словно в предчувствии близкой зимы, исходили они в ночь самыми дивными ароматами, отдавая осеннему городу все неповторимое и сокровенное, – так, будто дышали в последний раз.

И эта волшебная смесь вечерних звуков и запахов остановила нас у порога, и Игорь сказал вдруг:

– А ты помнишь? Отсюда до парка два шага. И там есть танцплощадка.

И мы, два здоровенных парня, которым до защиты солидных дипломов оставалось чуть меньше года, два взрослых человека, уже бывшие почти не здесь – билеты куплены, вещи собраны и прочее, и прочее, вдруг развернулись и пошли к берегу Ангары, где в полутемных аллеях целовались парочки, а на едва освещенной танцплощадке оркестр доигрывал последние номера своей вечерней программы.

По деревянным ступенькам мы поднялись туда, где народ еще танцевал, а скорее, собирался расходиться, и тут я увидел ее.

Не знаю, существует ли предопределенность в наших, казалось бы, интуитивных, поступках, но, видимо, да. Иначе этого бы не произошло.

Оркестр заиграл что-то древнее, но мне было все равно. Ведомый непонятно какими импульсами, я пересек всю площадку и подошел к ней.

Она стояла в плотном кольце парней и девушек – я просто не заметил, что она не одна и обнаружил это, только оказавшись напротив.

Она с кем-то разговаривала, и они смеялись, словно и не на танцплощадке были, а в своем, закрытом для всех посторонних мире. И им было там уютно.

– Простите, – сказал я ее друзьям, но она даже не услышала, она просто не увидела меня, что-то оживленно обсуждая и чему-то чисто, беззаботно смеясь.

Я видел, как высокая девушка, одна из тех, что были с нею, что-то сказала ей.

– Меня? – переспросила та, ради которой я оказался здесь. – Шутишь?

И засмеялась.

– Да нет, вот этот молодой человек… – и подруга указала рукой на меня.

Только тогда она увидела меня, хоть я был чуть ли не голову выше всех ее рыцарей.

– Да, – сказал я. – Я прошу Вас станцевать со мной.

– Вы? – почему-то удивилась она. – Но ведь сейчас – вальс!

– Да, – сказал я. – Вальс.

– Но… Никто не танцует вальсов!

– А я приглашаю Вас.

– Ну, раз так… – сказала она.

И шагнула ко мне навстречу.

Кажется, кто-то еще поддержал нас. Но мне было все равно.

– Я завтра улетаю в Москву. В полдень, – сказал я.

– А я только что оттуда, – сказала она и засмеялась, подняв ко мне лицо, словно вглядываясь в меня. – У меня кончились каникулы, и вот, я здесь!

Она опять засмеялась.

– А я уезжаю, – тупо повторил я. – Можно попробовать перенести рейс…

Она снова подняла лицо. На этот раз она не смеялась.

Я глядел, я впитывал каждую черточку этого лица, мне казалось, что уже никогда-никогда не смогу я быть без этого лица, без этого человека, о котором я ничего не знал, но это не имело для меня никакого значения.

Как объяснить необъяснимое? Не знаю.

Может быть, если бы не Байкал с его сиреневым туманом от омулевого костра, не перспектива провести ночь на каком-то сеновале, где к тебе обязательно подкатится какая-нибудь подвыпившая подруга, "любившая тебя с детсадовского горшка", если бы мы не сбежали от всего этого в город, стонущий от любви к уходящему лету, когда все съезжаются ото всюду в

стены своих альма-матер, переполняя город юностью, радостью встреч и ожиданием, того, что непременно сбудется что-то необыкновенное, если бы...

Музыка кончилась. Я словно бы очнулся.

Проводил ее к ее группе, вернулся к Игорю. Он посмотрел на меня как-то встревоженно. А я обернулся, ища глазами ту, что только что нашел.

Ее нигде не было.

– Где она? – спросил я Игоря.

– А они все ушли, как только ты вернул им девушку.

– Куда ушли? – спросил я. – Ты видел, куда они пошли?

– Парк большой, – пытался пошутить Игорь.

И тут же поправил себя:

– Но выход из него один. Он слева. Забыл?

– Нет, – сказал я. – Пошли.

Мы вышли из парка. Здесь было тихо и безлюдно, и одинокий фонарь, как долговязый городовой, следил за порядком в засыпающем городе.

Игорь что-то говорил. Я не слышал.

Мы прошли еще несколько шагов, завернули за угол. Нигде никого не было.

Одинокие прохожие скользили, как рыбы в аквариуме. Мне показалось, что еще немного, и я задохнусь от нехватки кислорода.

Я тоже был рыбой в гигантском аквариуме, из которого откачивают воду, нет! – я был рыбиной в закоп-

ченном ведре, над которым плясал, завивался сиреневый омулевый туман.

– Вон они! – тихо сказал Игорь.

– Что? – не понял я.

– Да оглянись же ты! – сказал он.

Я оглянулся.

Там, позади фонаря, из парка выходила группа ребят и девушек, и я сразу увидел ее.

Я ни о чем не думал, я ничего не осознавал, я просто увидел ее здесь, на набережной, живую, настоящую, она не была ни сном, ни наваждением, и я бросился к ней.

Я видел, что она сразу узнала меня и рванулась ко мне, и Городовой слил наши тени, а через секунду я держал ее уже в своих руках, и не было в тот миг на свете человека, счастливее меня.

Потом мы шли по опустевшему городу. Мы держались за руки, и я что-то говорил, а она слушала и вдруг сказала:

– Так странно…

– Что? – спросил я.

– Ты говоришь: я шел, я ехал, я увидел… Это так необычно звучит.

– Что именно? – не понял я.

Она вдруг каким-то неуловимым певучим жестом крутанулась, так, что я и не заметил, как это вдруг рука моя, только что державшая ее ладошку, оказалась пуста, а девушка уже стояла передо мной и всматривалась в мое лицо.

– Окончания глаголов! Мне привычнее: "шла", "ехала", "видела…"

– Глаголов? – тупо переспросил я.

Я привык к иной материи. Моей жизнью была физика твердого тела, она описывалась математическими формулами… Я никогда не думал о глаголах, они существовали сами по себе, не требуя моего внимания.

Я что-то пробормотал ей про это.

– Физика… Генераторы… Чтобы побыстрее заснуть, я всегда брала учебник по физике, находила в нем статью о генераторах и сразу засыпала!

Она улыбалась, говоря все это и, одновременно развернувшись, тем же неуловимым певучим движением, вдруг оказалась снова рядом.

Я взял ее руку, и мы снова шли сквозь теплую ночь начала сентября, и она баюкала мое счастье на своих золотых тополиных крыльях.

– Ну вот, мы и пришли! – вдруг сказала она.

– Да! – изумленно сказал я. – Это мой дом. Я здесь живу. С родителями и сестрой. Вон, угловые окна третьего этажа, видишь?

– Вот это здорово! – сказала она. – А дом рядом видишь?

Я засмеялся.

– Это мой дом! – сказала она.

И мы смеялись, мы просто хохотали, убей меня Бог, я никогда не мог позже объяснить себе, почему.

– Что ты завтра делаешь? – наконец спросил я.

– В шесть – байдарка, потом стадион, разминка, в 9-30 институт. И до глубокого вечера. Потом – домашнее задание и – спать. Обычный день.

– А можно мне с тобой на байдарку?

– В шесть утра? – недоверчиво спросила она.

– Да, – сказал я.

– Можно, – сказала она. – Только не опаздывать!

Я проводил ее до дверей, подождал, пока консьержка закроет дверь, и пошел домой.

Не помню, как я взлетел на третий этаж, прошел на балкон и сел в отцовское кресло, развернув его так, чтобы видны были окна ее дома.

Заглянула мама:

– Что-то случилось?

– Нет-нет, Ма. Все нормально, – сказал я, не отрывая глаз от окон напротив.

Потом зашел отец.

– Па, – сказал я. – А нельзя ли вылет отложить хотя бы на пару суток? Ну, хотя бы до вечера.

Он тоже взглянул на окна напротив.

– Это важно?

– Да, – сказал я.

– Попробую, – ответил он и ушел, пожелав мне спокойной ночи.

Полшестого я был уже внизу и ждал ее.

Она стремительно вышла из темной арки между нашими домами, и утреннее солнце окутало ее светящимся золотым коконом.

Я смотрел, и не мог двинуться с места. Я не мог даже протянуть ей руки.

Все было рыжим в то ранее утро.

И небо, и город, из которого мне надо было уезжать, и вчерашняя смешливая девчонка, которая сегодня оказалась солнечно рыжей и совершенно недостижимо прекрасной, словно сотканной из лучей осени.

– Приветик! – ударило по мне неземным, нездешним голосом, словно невидимый небесный пианист в каком-то неосознанном наитии обрушил в тишине утра сильные свои пальцы на клавиши верхних октав, и они звучали и звучали, и я тонул в них…

Быть может, все дело было просто в том, что я жил среди мужских голосов, они привычны были мне, как хлеб, как собственная кожа, а редкие в этом моем бытовании женские голоса говорили и мыслили общим для нас языком формул и жесткой математической логики и из общего звучания не выпадали.

И непостижимым чудом было для меня каждое слово, произнесенное, нет – пропетое! – ею, не потому ли, что мы были с ней из разных, редко соприкасающихся миров?

А, может быть, дело было в другом? Может быть, это всего лишь какой-то особый, только ей принадлежащий, тембр голоса, а я просто попался, как начинающий меломан…

– Пошли? – спросила она.

Я кивнул. Мне все еще казалось сном то, что она есть.

А она то ли шла рядом, то ли вела меня, то ли шла за мной, – я едва успевал разглядеть ее, так стремительно передвигалась она.

И осторожно так, чтобы не зацепить пространств ее бытования, боясь спугнуть это странное, похожее на неприрученного зверька существо, я спросил:

– Что тебе снилось сегодня, Рыжик?

– Снилось?! – изумилась она, и я увидел, как откуда-то снизу полыхнул по мне рыжий взгляд.

Но не успел я поймать его, как взгляд этот уже сместился высоко вверх, и оттуда голосом флейты омыло, закружило, заколдовало так, словно оказался я под ударом горного звенящего водопада:

– Мне никогда ничего не снится!

И золотыми колокольчиками затих, замер голос, который почему-то хотелось слушать и слушать.

– Всем людям снятся сны, – мягко возразил я.

– Да нет же! – ответили колокольчики. – Я не вижу снов! Мне некогда!

И в наказание, или в награду, золоторыжий, как утреннее солнце, смех зазвучал снова, но уже где-то за поворотом к реке, и мне стало страшно от провидческого: а, ведь, я потеряю ее...

У лодочной станции было прохладно и пустынно, но каким-то непостижимым образом откуда-то появился лодочник, молча постоял, глядя на нас, а потом сказал:

– Я сейчас подберу для вас байдарку.

И исчез.

– Эта подойдет, – крикнул он откуда-то с пирса, распутывая цепи.

Еще раз прошелся по ней оценивающим взглядом:

– Мы вчера проверяли ее.

И ушел.

Я чувствовал себя последним болваном, глядя, как управляется она с железным чудищем, то обходя стремнины, то врезаясь в них…

"Характер, – подумал я. – Два характера схлестнулись. Нет, сошлись, пожалуй… Девушка и Ангара…"

Мне казалось, я проведу здесь вечность. Но меня быстро стреножили.

– Все, – сказала девушка и передала цепь лодочнику.

И, вот, мы идем по тихим чистым почти безлюдным улицам к стадиону.

Там уже кто-то был, ее приветствовали издалека.

– Это у нас временно, – сказала она. – Пока тепло. Снаряды вечером. И зимой мы полностью перейдем в зал.

А занятия? – спросил я.

– В 9-30.

– Тогда, мы, кажется, успеем вместе позавтракать? – сказал я.

Она взглянула на часики. Кажется, она была уже там, на стадионе, не со мной.

– Возможно! – крикнула она на ходу, обернувшись на миг, махнула мне рукой, и снова я замер, закоченел, приморозило меня к асфальту как в метель ледышку, – так остро пронзило предчувствие невероятности всего происходящего и неизбежной его кончины.

Я пошел к отцу, выяснить, удалось ли перенести мой вылет, но пока все еще было неопределенно.

И все-таки до полудня у меня точно еще было время, и я позвонил маме:

– Как ты смотришь на то, если с нами за завтраком будет еще один человек?

Мама как-то очень серьезно сказала:

– Хорошо смотрю.

И повесила трубку.

…Я успел перехватить ее у стадиона, и мы снова шли рядом, когда я сказал:

– Ты не против, если мы позавтракаем у нас дома? Пока все в сборе.

– А это удобно? – спросила она.

"Это необходимо", – хотел сказать я, но вовремя спохватился и ответил просто:

– Да.

Когда мама успела напечь такую гору блинов? Впрочем, в то утро время сместилось, и я, пытаясь се-

годня рассказать, многое не могу ни передать, ни воспроизвести…

Да и зачем? Не знаю.

Я впервые привел в дом девушку. Ранним сентябрьским утром. За полдня до отлета. Наверное, для моих родных это что-то значило, не знаю.

– Знакомьтесь, – сказал я.

И с ужасом вспомнил, что даже не знаю ее имени.

– Так как зовут девушку? – заметив мое замешательство, не без ехидства спросила сестра.

– Оза! – нежно проворковала гостья. – Сокращенное от Стервоза. Как Вам удобнее, mademoiselle!

И неотразимо улыбнулась.

– Саша просто растерялся от твоей атаки, Валентина, – произнес вдруг обычно молчаливый мой отец. – Нашу гостью зовут Ляля.

– Как? – холодно сказала сестра. – Уже и Ляля!

– К столу, – сказала мама, вынося гору фирменных своих блинов. – Все – к столу! Ляле в институт через 15 минут.

– О, Господи! – произнесла Валентина.

Мама взглянула на нее исподлобья. Мы все знали, что этот взгляд не означает одобрения.

– Все-все, – сказала Валентина. Мне сначала с икрой!

Пока они расправлялись с блинами, и правила бал мама, я был спокоен. Мы вышли с отцом на балкон.

– Твою девушку зовут Оля. Ляля – детское прозвище, и так ее называют в институте. Ты уже хоть понял, в каком?

Я молча кинул.

– Второй курс, экспериментальная группа. Их всего восемь человек. Факультет романских языков, кафедра переводчиков. Негласная, как ты понимаешь. Туда отбирают самых одаренных. Она изучает четыре языка плюс китайский, староста этой группы. Плюс – медицина, ну, и еще кое-что. Знание "своей" страны, например. Член сборной по спортивной гимнастике, но это ты тоже, наверное, знаешь. Она, ведь, говорила с тобой про снаряды?

Я снова кивнул.

– Откуда ты все это знаешь, па?

– Да от тебя же и знаю. А, помимо всего, Иркутск – город маленький.

Он усмехнулся.

– Ты даже во сне называл ее Ляля…

– Разве я говорю во сне? – мне стало холодно.

– Прежде – нет, – сказал отец. – Но раз прорвалось однажды…

– Да, – сказал я.

– Тебе поставят защиту, ты не против?

– Нет, – сказал я. – А как насчет рейса?

– Решают. Но… Ты уверен?

– Да, папа!

– Ясно, – как-то неопределенно произнес он. – Иди, ей пора. А то умчится, и…

В троллейбусе я только и делал, что смотрел на нее. Она, кажется, вообще забыла о моем присутствии, занятая своими мыслями.

По ступеням мы вошли в прекрасное здание с колоннами. Я тысячу раз видел его, но был в нем впервые. Мы стояли в вестибюле, и, кажется, ни о чем не говорили – время шло на секунды.

Перед тем, как расстаться, я успел спросить:

– До которого часа у вас занятия?

– Последняя пара заканчивается в 13-30.

– А потом ты куда?

– В лингафонный кабинет. Часа на три. А потом – перекусить и – в спортзал.

– А где у вас лингафонный кабинет? – спросил я, не вполне отчетливо осознавая, зачем, потому что в это время я буду на высоте десяти километров от земли, в самолете, уносящем меня от нее в вечность.

– Да здесь же! – сказала она. – На втором этаже, налево. Прости, но мне пора!

И убежала.

Там, за вестибюлем, для нас, посторонних, была закрытая зона. Туда чужих не пускали.

Как шли эти часы, пока она была там, у себя, и занималась своим, я не знаю. Я ждал звонка. Я все еще надеялся, что позвонит отец, и скажет, что рейс перенесли.

Позвонил Игорь:

– Нам пора. За тобой заехать?

– Да, – сказал я.

Времени судьба мне не оставила. Ни капли.

Все остальное было, как во сне.

Мы приехали в аэропорт. Нас встретил сдержанный, как обычно, отец и спокойно сказал:

– Прости, я не успел предупредить тебя. Мы обменяли билет. Ты можешь лететь вечерним.

Я взял такси и помчался к ее институту, и в голове моей были только два слова: "лингафонный кабинет".

Я не думал о том, что у нее могут поменяться планы, что ее вообще может уже не быть в институте – пошла в кино, или…

Да мало ли что происходит, когда меняются планы?

Не знаю, как меня пропустили в святая святых – на этажи, где шли занятия. Я просто прошел, поднялся на второй этаж, взглянул налево и сразу увидел табличку с названием. Я приоткрыл дверь.

В самом конце зала за столиком у стеллажей с книгами, прижимая пальцами к голове огромные наушники – такие обычно надевают на звукозаписи певцы – сидела она, отрешенная от всего внешнего, от чего бы то ни было, существовавшего вне этой замкнутой системы – девушки-операторы за стеклянной стеной, тексты, которые они выводили каждому в его наушники и книга перед ее глазами, которую надо было не только понять, но и запомнить.

Было кощунственным вырвать ее из этой глубины, но у меня не было выбора.

Я прикрыл дверь и попросил девушку, вышедшую из лингафонного, вернуться и позвать ко мне "вон ту девушку в центральном ряду у стеллажей".

– Я буду на лестничной площадке, – добавил я.

– Хорошо, – сказала девушка.

Я вышел на лестницу и стал смотреть в пролет, все еще не веря ни во что хорошее.

"Так не бывает" – думал я. – "Нет, так не бывает…"

И в это время услышал холодное, отчужденное, но произнесенное таким родным голосом:

– Это Вы хотели видеть меня?

Я обернулся.

– Саша! – Зазвенело по всем лестницам и этажам здания, я видел, как вздрогнула Старшая, что-то объяснявшая в коридоре напротив целому курсу, и они неслышно сдвинулись, исчезли.

Ее руки обнимали мою шею, она целовала мое лицо, и ее лицо было соленым от слез.

Все в этот день было необыкновенным.

Улицы и площади родного города казались мне невероятно огромными, распахнутыми для нас двоих, чтобы ни одна машина не коснулась ее, моей любимой.

Осенний ветер потеплел, и порывы его не студили, а ласкали.

Золотая тополиная листва кружила и танцевала для нас свои запретные вальсы.

Мы шли пешком сквозь чудо ранней сентябрьской осени, мы были счастливы, и я был уверен, что это – на всю жизнь.

– Мы должны зайти домой к маме, – сказал я.

Она смотрела на меня, не знаю, слышала ли она, о чем я говорю. Она просто, не отрываясь, смотрела на меня.

Мы пришли домой, мама стала угощать нас чем-то, но есть мне совсем не хотелось.

– Мама, – сказал я. – Вы не против, если Ляля поживет у нас, пока я в Москве?

– Конечно, не против, – сказала мама. – Твоя комната, ведь, свободна! Я думаю, там Ляле будет уютно.

Я вдруг заметил, что мама улыбалась как-то по-особому, нет, не улыбалась даже, а словно светилась изнутри какой-то тихой несказанной нежностью.

– Папа на службе? – спросил я.

– Конечно.

– Мы заедем к нему попрощаться, – сказал я.

Время таяло.

– Обязательно, – сказала мама. – Обязательно!

– Ты не против? – спросил я девушку.

Она кивнула.

Похоже, она по-прежнему ни во что не вникала, ничего не слушала. Она все смотрела и смотрела на меня, словно я был мираж, нечто нереальное, возникшее внезапно и могущее исчезнуть в любую минуту.

Так дети часами смотрят на зеленую гусеницу в зеленой траве.

Отец поднялся нам навстречу в своем строгом генеральском мундире и широко улыбнулся:

– Я рад.

– Па, – сказал я. – Мы зашли попрощаться.

– Присядем на дорожку, – сказал отец. – Раз уж проводить тебя мне не удастся.

Мы сели.

И снова мне показалось, что она ничего не видит – ни кордона офицеров, сквозь который мы шли сюда, ни отцовского мундира.

Много позже я понял: для нее все это не имело никакого значения.

Она ничего не оценивала.

Все вокруг существовало помимо нее, до нее и останется после.

Реальным был только я – живой мираж, к которому можно сейчас, сию секунду, прикоснуться. Не больше.

Что это было? Интуиция, данная девочкам от рождения? Или такое отношение к жизни, в которой все – второстепенно, кроме одного, главного.

И этим, главным, был в тот момент я.

– Папа, пока я Москве, берегите ее, хорошо? – сказал я.

Отец пристально посмотрел на меня. Кивнул. И снова посмотрел – долго, не мигая:

– Все, что от меня зависит, мальчик, – сказал он.

– Если ей будет трудно, помоги ей, хорошо?

Он снова молча кивнул.

Мы попрощались.

А потом шли месяцы-письма. А перед самой защитой пришло письмо от сестры.

Валентина сообщала, что Ляля, конечно же, отказалась жить у них, а последний месяц ее часто видят повсюду с одним и тем же молодым человеком. И вообще, спрашивала Валентина, ты уверен, что она тебя любит?

Я перечитывал это маленькое послание несколько раз. Позвонил домой. Трубку взяла мама.

– Прости, сказал я ей. Я понимаю, что это глупо, но я должен быть сейчас в Иркутске. Я понимаю, что не время, что защита, я все понимаю. Но я должен был тебе сказать это.

И положил трубку.

Я никогда так не разговаривал с мамой.

– Что на тебя нашло? – спросил Игорь.

Мы жили в одной комнате и он, наверное, знал обо мне даже больше, чем я сам.

– Что на тебя нашло?! Ты посмотри в окно! Ты прогноз слышал? Погода нелетная! Всех сажают на запасные площадки, вылеты задержаны. Ты слышишь меня?!

– Не надо так кричать, Игорь. Не надо.

Я поднялся и вышел.

***

– Туман! Я больше не помню таких туманов в Москве, как в тот день. Не помню, – говорил Игорь. – Нелетная погода. Столпотворение на шоссе... Вытянутой руки не видно. Такой сырой, плотный туман...

– Я сначала ждал, что он вернется. Потом попытался дозвониться к вам. Мне все казалось, что он дома…

Игорь сидел на стуле, широко расставив колени и опустив голову.

– Кстати, насчет парня, о котором писала Валентина. Это скульптор. Он готовился к персональной выставке. Уговорил ее попозировать, улавливал минутки. У нее день забит до отказа. Но портрет он сделал.

Ее бронзовый бюст и сейчас в нашем музее. "Упрямая". Очень хороший портрет. Вроде образа Ангары в бронзе…

Мне сказали, там чуть ли не весь их институт перебывал… Упрямая. А ведь ей было всего 17…

Поэтому Саша так и боялся за нее. Я и думал, что он здесь, в Иркутске… Но прошло три недели, и я не выдержал, прилетел…

Он постоянно теребил в руках не то шапку, не то шарф.

А потом прижал это что-то к лицу, склонился еще ниже к коленям, не видя, как тяжело, грузно, едва держась пальцами за пунцовую гардину, оседает на пол его Крестная, его мама-Таня, мать Саши.

Глава 2. ЛЯЛЯ

Все оборвалось.

Все остановилась.

Она шла домой, и ливень хлестал ее безжалостно и нещадно.

Только однажды она заметила, как ядовито красны огоньки проносившихся мимо машин, и снова все окружающее утонуло в странном, по-зимнему ледяном ливне.

И от его ударов над асфальтом кружился, дымился, завихрялся кровавыми змейками за несущимися куда-то машинами клубящийся туман.

Словно забавлялось под ледяным ливнем чуждое всему человеческому живое существо.

Она шла домой, забыв о тренировке, об институте, о том, из чего состояла ее жизнь.

Ливень, ядовитые огни проносящихся машин, и – ничего больше.

Ей надо было переехать на другой берег Ангары, но она просто забыла о том, что существует транспорт, порядок, привычное ее стремление жить по минутам, не разбрасывая их на ветер.

Мост казался бесконечным, но ей было все равно, кончится он когда-нибудь, или нет. Ничего, кроме ледяного дождя и ледяных лиц, заставивших ее сделать самое страшное в жизни, как говорила мама.

Мама!

Если бы ты была рядом, мама!

Ляля вытерла мокрое лицо. Перчатка тоже была холодной и мокрой.

Мама…

Она шла по мосту. Ее обгоняли машины. Наконец, она оказалась у двери деревянного домика, где они снимали комнатку на четверых, – так было дешевле.

Позвонила.

Дверь открыл сын хозяйки, студент медицинского института – это все, что она о нем знала.

– Что случилось, Ляля? – спросил он, пытаясь заглянуть ей в лицо, но она отвернулась, быстро прошла в свою комнату и захлопнула дверь.

"Что случилось? Я сегодня предала человека", – подумала она.

***

…Она не знала, как они нашли ее. Наверное, через деканат. Они пришли втроем – сестра и две подружки, одна из которых училась в вузе напротив, но часто заходила на их факультет. Иногда Ляля видела ее на катке. Та классно каталась.

Ляля вышла к ним коридор.

– Вы любите Сашу? – резко, в упор спросила Валентина, его сестра.

О, Господи, о чем она?! – подумала Ляля.

До тренировки было еще часа полтора, она собирались в спортзал.

Ляля любила языки, залы библиотек, спортивную гимнастику…

– Вы любите Сашу? – повторила Валентина, и вопрос ударил ее, настолько он был неуместен и непонятен.

Он был просто неприличен.

Эта чужая женщина вторгалась в то, о чем Ляля даже себя не спрашивала.

Да, она любила гимнастику, живопись, музыку и скорость, которая позволяла ей вмещать в одни сутки несколько.

Но эти женщины, сверлившие ее одинаковыми белесыми ледяными глазами, на дне которых лежала смертельная ненависть к ней, Ляле, спрашивали о чем-то другом.

Мужчина и… "любите"?

– У него нет вашего адреса, он потерял вас, вы должны поехать с нами на фототелеграф и своей рукой написать ему.

– Что?

– Ответ.

– На что?

– Вот, его телеграмма.

Валентина протянула Ляле полоску бумаги.

На ней, ставшим для нее уже родным почерком, который она привыкла видеть в почти ежедневных его письмах – они стали смыслом ее самой сокровенной жизни, такие удивительные, как самая невероятная книга, – было написано по-английски коротенькое: ***" I can't live without you! "***.

– Остановите его, – ровным ледяным голосом резала ее душу Валентина, как режут острием конька лед, выполняя вращения. – Если вы не хотите испортить ему всю жизнь! Вы же не хотите этого?

Ляля молчала. Нет, этого она никому не хотела.

– Вы должны поехать сейчас с нами на телеграф и своей рукой написать, чтобы он не приезжал.

– Да, – скорее прошептала, чем произнесла она вслух.

…Лил дождь.

Какой холодный дождь проливался на Иркутск в тот день!

– Так что я должна писать? – спросила она, когда ей подсунули бумагу с какой-то особой авторучкой.

Ляле казалось, что все это происходит не с ней.

– Напишите, что не любите его.

И наотмашь снова ударило ее это странное, отталкивающее словосочетание, произнесенное подчеркнуто чуждым ей человеком: "он" и "любить".

– Хорошо, – сказала она, подавляя в себе нарастающий взрыв негодования. – Хорошо.

Ей хотелось одного – никогда больше не видеть этих лиц, их бездонной враждебности.

Она выросла в тайге, и знала, как уходить от зверя. Но это были не звери…

Она написала то, что от нее требовали ради спасения человека, и вышла под ледяной ливень.

***

"Случилось то, что мама называла самым страшным. Самое страшное, говорила мама, что может сделать живущий – предать."

Ляля сидела на жестком деревянном стуле, мокрая насквозь, раздавленная этой мыслью.

Время перевернулось. Оно изменило русло, и Ляля, еще не осознавая этого, просто задыхалась от необратимости произошедшего.

Мама!

Она снова поднялась, вышла на улицу.

Ливень не прекращался. Но уже темнело, и она села в автобус, доехала до телеграфа и попросила соединить ее с мамой.

– Девушка, с чьей мамой? – спросили ее.

– С моей, – безжизненными не слушающимися губами произнесла Ляля.

– Хорошо-хорошо, – сказала женщина за стеклянным барьерчиком. – Сейчас соединю. Телефон помните? Адрес?

– Да, – сказала Ляля и удивилась, как можно не помнить мамин телефон.

Женщина протянула ей белый квадратик бумаги – их, наверное, специально так ровненько, по линеечке нарезают, подумала Ляля, прижав квадратик кончиком пальца за угол.

– Хотя, знаете что? – сказала женщина за стойкой. – Вы продиктуйте мне адрес и телефон, я запишу сама.

– Хорошо, – сказала Ляля.

Женщина записала мамин телефон и мягко сказала:

– А Вы пока присядьте, я назову город и номер кабинки. Пройдете туда и поговорите с мамой.

– Хорошо, – сказала Ляля.

Она отошла в угол между кабинками для переговоров и рядом стульев. Села. Прикрыла глаза. Здесь было тепло.

Наконец ее вызвали. Она прошла в кабинку, опустилась на стул. Зажегся свет. Ляля взяла трубку.

– Мама!

– Что случилось, Лялюшка? – в голосе мамы потаенно, стараясь не выдать себя, чтобы не испугать, билась тревога.

– Мама, ты говорила, что здесь, в Иркутске у тебя есть бабушкина подруга, и на самый крайний случай…

– Хорошо, сказала мама. Запиши ее адрес и имя. Она очень старенькая.

– Неважно, сказала Ляля. – Я хочу немного пожить у нее.

– Хорошо, – сказала мама, – Я ей сейчас же позвоню, а ты езжай прямо к ней. А потом все-все напиши мне.

– Что – все? – спросила Ляля.

– Ну… Как устроилась, как тебя приняли. Жаль, что я не могу приехать сейчас.

– Не надо приезжать, мама. Не надо.

– Хорошо, Лялюшка! Учебный год, мне все равно не на кого оставить класс. Деньги я тебе сейчас же переведу. Надо будет заплатить. Она одна, и я даже не представляю, на что она живет. У нее нет пенсии. Какое-то крохотное пособие. Ты записала адрес?

– Да, мама.

– Разговор окончен, – произнес чей-то голос, и в трубке стало пусто.

Свет в кабинке погас.

Ляля вышла. Снова присела на тот же стул. Развернула листик бумаги с адресом бабушкиной подруги.

Адрес показался знакомым.

Боже мой, подумала Ляля, так я же каждый день прохожу мимо этого дома. Это рядом с институтом.

И при этом слове – институт – защемило, захолонуло сердце.

Ляля закрыла глаза.

Не будет больше института.

Ничего больше не будет, подумала пронзительно отчетливо.

Словно снова, как давным-давно, в детстве, стояла она на сцене, перед черным, забитом до отказа залом, где уже погасили свет.

А она точно знала, что не сможет произнести ни слова.

А зал ждал.

И она стояла, ослепленная кругом направленного на нее безжалостного света перед провалом в невидимый со сцены зал, и не было слов.

Суфлер из низенькой раковины на краю сцены что-то подсказывал ей.

Она видела, как он тянулся к ней, махая руками, и губы его беззвучно шевелились.

И тогда к ней, в одинокий круг света, вошла мама, обняла за плечи и, улыбаясь, сказала темному молчащему залу:

– У Ляли дебют. У всех наших юных артистов сегодня – премьера! Давайте же поддержим их!

И зал взорвался аплодисментами, и кто-то кричал ей:

– Давай, Ляля, не тушуйся!

И кто-то из зала начал читать первые строки "Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди":

"Три девицы под окном..."

И Ляля, стоя в шикарном старинном – в пол! – бабушкином платье из бело-розового древнего шелка, платья, какие могут быть только у принцесс из сказки, вдруг все вспомнила, улыбнулась и начала читать вводную часть к первому в их жизни спектаклю.

После этого случая никогда ничего Ляля не боялась – столько поддержки, тепла и нежности послал ей темный, невидимый зал. Ляля почувствовала себя частью его, частицей своего огромного народа. И страх растаял…

Но…

Время изменило свой ход, оторвало Лялю от основ ее бытия, выплеснуло, как рыбу на песок неведомого пустынного острова.

"Остров предателей", – жестко подумала Ляля, вздернула голову и вышла в полумрак кончины дня.

Она шла к знакомому дому, не думая ни о том, как будет жить и будет ли.

Она ни о чем не думала.

У нее была одна, четко осознанная цель – никого не видеть из прежней жизни.

Никого!

И она просто шла к этой цели.

Глава 3. Чайная роза

Это были старинные иркутские дома, чудом сохранившиеся в центре города, похожие круговым своим расположением на монастырский двор.

Ляля легко нашла подъезд, поднялась на второй этаж, позвонила. Ей открыли дверь, даже не спрашивая.

Она перешагнула порог.

– Здравствуйте.

– Bonsoir, ma chérie! Comment vous-avez parvenue? – ответили ей на чистейшем французском.

– Merci, Madame! Bonsoir, Madame! – едва слышно произнесла Ляля.

– J'espère que Votre maman a réussi à prendre soin de ce que Vous sachiez le français!

– Sans doute, madame!

– О, да Вы совсем промокли, душечка! – продолжала на своем великолепном классическом французском подруга бабушки, сияя тихой сдержанной радостью. — Немедленно в ванную. Я все там приготовила для Вас. И не спешите, надо отогреться! А я пока заварю чаю, идет?

Ляля кивнула.

Да, ванна. Вот ей что сейчас нужно! Ванна!

Все, вокруг и помимо нее существовавшее, воспринималось ею неясно, так, как будто находилась она в капсуле с отпотевшими непрозрачными стенами, но это даже не удивляло ее, словно так и должно было быть теперь – отныне и навсегда.

Она запнулась о последнее слово – такое неуместное, непонятно откуда и кем вброшенное в ее сознание, но и это ненадолго зацепило ее внимание, словно шел, шел да споткнулся по дороге о случайный камушек. И тут же забыл…

Ванна была высокая, старинная, на белых, отделанных древней тусклой позолотой львиных лапах, – это было последнее, что отметило мимоходом ее едва пульсирующее сознание.

Она наполнила ванну горячей водой и, погрузившись в нее, вдруг отчетливо поняла, что очень замерзла.

Она закрыла глаза. И, только слегка согревшись, резко поднялась, чтобы заменить воду…

И смотрела, смотрела, как уходит из нее вода, смотрела, не думая ни о чем, так, словно сливалась из ванны вся ее прежняя ясная жизнь, из-за которой ей было сегодня так плохо.

И снова, отлеживаясь уже в новой воде, подумала:

– Ничего… Ничего! Как-нибудь образуется.

Она не стала пить чай, попросив разрешения пойти спать, и бабушкина подруга – Анастасия Николаевна, настаивать не стала, только пристально посмотрела в лицо Ляли:

– Как же ты во всем похожа на Тасю! А ведь ты родилась совсем незадолго до ее кончины.

– Да, – сказала Ляля. – Мне было три года, когда мама получила письмо о том, что не стало ее мамы.

– И ты помнишь это?

– Да, конечно, – сказала Ляля. – Я почему-то все помню. Не постоянно, а если вдруг что-то напомнит.

– И тогда ты видишь все, как было, вплоть до мелочей типа какого цвета были портьеры в междверных проемах…

– … и какие на них помпончики! – засмеялась Ляля, вдруг почувствовав себя дома. – Мне даже Ваша ванна на львиных лапах отчего-то знакома, и эти выгибы по бокам, и высокие края у изголовья и в изножье!

– Ничего удивительного, – сказала Анастасия Николаевна. – Точно такая же ванна была у ваших, и тебя купали в ней, пока Машенька не увезла тебя с собой в Тьмутаракань.

Кстати, бабушка твоя была против! Но молодые стариков не слушают…

– А вот ее я совсем не помню.

– Не удивительно. Тася работала сутками в госпитале. Старалась не привыкать к тебе, зная Машенькины планы. Только ничего хорошего из этого не вышло.

И, споткнувшись о пристальный, "слушающий" взгляд Ляли, внезапно скомандовала:

– А теперь – спать! Немедленно. Идем, я покажу тебе твою комнату. Только нам придется пройти через мою гостиную, ты уж не пугайся!

И улыбнулась своей шутке такой родной, знакомой улыбкой, что Ляля невольно отозвалась на нее, и подумала: "Мама, ты снова вошла ко мне в этот страшный круг…"

Огромная луна освещала гостиную. Анастасия Николаевна не стала включать света, но Ляля увидела, что все вещи в ней были накрыты чехлами. Рояль, кресла, даже конторка в углу у окна, сквозь который лился зыбкий лунный свет, словно включил кто-то на небе фонарь как раз для этого случая.

– Похоже на комнату с привидениями, да? – усмехнулась Анастасия Николаевна.

– Нет. Так ведь всегда зачехляют мебель перед отъездом на дачу.

– А ты откуда знаешь? – спросила Анастасия Николаевна.

– Не знаю. Но я видела это. И холщовые чехлы. Я даже знаю, что они жестковаты, что ли. Наощупь знаю.

Анастасия Николаевна остановилась, глядя в окна, занавешенные лунным светом.

– Ляля, а ведь так всегда и было, ты права. До революции… И чехлы у меня почти с тех времен. И мебель… Благодаря им и сохранилась. У тебя генная память. Слышала о такой?

И засмеялась:

– Все-все! Спать! И ничего не бери в голову. Ничего. Ясно?

Ляля кивнула.

– Вот и хорошо пошли к тебе.

И они вошли в комнату, и первое, что увидела Ляля – огромная, цветущая совсем не в сезон, чайная роза.

– У нас, дома… – начала было Ляля, но Анастасия Николаевна остановила ее:

– У вас дома Машенька растит дочку этой розы!

И опять засмеялась, сказала:

– Спокойной ночи!

И ушла.

Мама позвонила рано утром. Анастасия Николаевна позвала Лялю, та вскочила, схватила телефонную трубку:

– Мама! Здесь есть твоя любимая чайная роза! Целое дерево!

– Конечно, – сказала мама. – Не опоздай в институт, а мне пора на занятия. Поцелуй Анастасию Николаевну. И не забудь написать мне, хорошо?

– Конечно, Ма!

– Вот и славно, – сказала мама. – Вот и славно!

Эпилог
в непривычном месте, но необходимый

Туман был такой, что все вокруг приобрело вдруг зыбкие текучие очертания, словно здания, люди, силуэты машин, придорожные деревья кто-то запаковал в полупрозрачную искусственную вату. И не было ему конца.

Саша шел, не очень осознавая, куда и зачем. Ему хотелось только, чтобы этот туман кончился. Должны же быть и у него пределы?!

И как только он подумал про это, он увидел две смутно белеющие пустые скамейки, подошел к ним и сел.

***

Она проснулась ни свет, ни заря. Это было привычным. Непривычным было все вокруг – чужая комната, солнечный ранний рассвет в окне, чуть приглушенный легким тюлем, по краям которого на старинных бархатных подвязках с роскошными кистями уютно жили-поживали зеленые с золотыми узорами раздвинутые гардины, которые давно уже никто, наверное, не закрывал на ночь.

Ляля села, оглядела белую в розовый цветочек пижаму, которую не помнит, как и надела перед сном. И засмеялась – невидимо и неслышно – дома в детстве у нее была такая же! И как только вспомнила это, как всё обрушилось.

Тяжело, не ощущая движения, прошла в ванную, закрылась.

Отчетливо помнила одно: бабушкина подруга. Ее нельзя огорчать. Она слишком хрупкая.

Ляля переоделась, написала записочку: "Сейчас буду".

И вышла.

Ни одна половица не скрипнула под ней, и Лялю это не удивило почему-то.

Она пересекла двор, пошла на главпочтамт к окошечку "до востребования", где каждый день получала письма из Жуковского, спросила:

– Мне должен быть перевод. Он пришел?

– Секундочку, – сказали ей.

– Да, вот. Заполните бланк, пожалуйста.

Она взяла деньги, вернулась в "монастырскую", позвонила.

Анастасия Николаевна не удивилась ничему, просто произнесла свое обязательно солнечное приветствие.

Ляля прошла в столовую, положила на стол деньги.

– Спасибо, Анастасия Николаевна. – Спасибо. А это – от мамы.

– Благодарю. Передай Машеньке. Она всегда помогает мне… Прости, я понимаю, что не имею права вмешиваться, но все же скажи, девочка, куда ты сейчас?

– К маме, – тихо сказала Ляля.

– Будь осторожна в дороге, – сказала Анастасия Николаевна.

– Спасибо. До встречи, Анастасия Николаевна.

Та посмотрела долгим темным взглядом и тихо сказала:

– Хорошо бы.

Ляля вышла, села в автобус, идущий в аэропорт, купила билет, и через несколько часов она уже летела в серебристой бесшумной сигаре высоко над землей, не отрываясь глядя на то, как мала земля, как малы великие реки и как бесконечна тайга со стеклышками озер и тонкими синими нитями текущих вод между ними.

А потом заснула.

– Ну что же, – сказала мама. – Дома всегда лучше. Но без диплома ты не сможешь преподавать. Да не беда, что-нибудь придумаем. Если позволишь, я посоветуюсь.

– Мама, – сказала Ляля. – Я так устала. Можно, я посплю?

– Прости, доченька! Все у меня в голове перемешалось! А через час – вторая смена. Не хочется от тебя уходить.

– Все будет хорошо, Ма.

Ляля подошла к чайной розе – иногда они называли ее почему-то китайской – все детство она протирала каждый ее листик.

– Иначе роза не будет цвести, – говорила мама.

И раз в год роза цвела.

В темной, почти как на елях, листве вдруг начинали появляться махровые оранжево-желтые благоухающие цветы.

***

А, может быть, вообще никакого тумана и не было? И все это мне просто снится? И туман, и солнце за ним, и исчезающая в его лучах, сгорающая в нем, рыжая девочка?

Ничего не было.

Ни злых писем-намеков, ни этого, последнего, в котором Валентина почти утверждала, что он ошибся в Ляле.

Вот сейчас, надо только шевельнуться, чтобы все это невозможное дикое наваждение сгинуло.

Он оглянулся. Вокруг был не то жиденький парк, не то лес, и две пустых скамейки стояли рядом, на одной из которых сидел он.

Он еще не знал, что вся его счастливая жизнь впереди, что разлетелась вдребезги только ее жизнь, а его счастье, ясное и беспорочное, ждет его в прозрачном бокале будущего. Не без горчинки, но… Кто ж о них думает, когда блюдо безоговорочно отменно.

Он подумал:

– А я ей про трудную жизнь на полигонах, без театров и музеев…

Он усмехнулся. Сжал пальцами лицо, словно стянул с него приросшую маску и тихо засмеялся.

– Все это сплин от байкальских пиратов. Нашаманили. Пора и делом заняться.

Поднялся и твердым, уверенным шагом пошел к такому нелепому и грандиозному неповторимому зданию в этом маленьком городишке, которое возвели специально для них, гениев.

"Она этого просто не поняла". Подумал он и забыл.

Забыл, зачеркнул, переключил сознание на иное бытие, словно щелкнул тумблером выключателя на

счётчике, когда перегорают предохранители и надо заменить их.

Зашел в деканат.

– Вы предлагали командировку с защитой там же, я правильно понял?

– Так Вы согласны? – поднимаясь ему навстречу, ласково произнес декан.

– Да, – сказал Саша.

– Там было одно условие, – негромко сказал декан.

– Я знаю, – ответил Саша. – Но, ведь в субботу наш Загс работает, нет?

– Работает.

– Значит, вопрос снят.

– Замечательно, Александр Михайлович. На понедельник мы все оформляем. В принципе, я был уверен в Вас. Рад, что не ошибся. Только имя супруги – единственное, что нам неизвестно.

– Элеонора Осиповна.

– Замечательно, – сказал декан. – Замечательно. Мы ее знаем. Правильный выбор.

И улыбнулся.

Саша вышел. Он шел к Элеоноре, синеглазой пампушке, о которой весь Жуковский знал, что она без ума от генеральского сыночка из Сибири, и своего не упустит.

– С ней, – подумал он. – У меня никогда никаких проблем не будет.

Оставалось только одно – миновать, разминуться с еще одним человеком, которого он никогда больше не хотел видеть.

И это был Игорь.

Глава 4. И ТИКАЛИ ХОДИКИ...

Часть 1.

И слепило солнце глаза, и ледяной холод пробирал до костей, и было безлюдно.

Можно было встать и уйти. Да не зачем. И некуда.

И тикали ходики.

И уходила жизнь.

А она все сидела и сидела. Без движения. Без мысли.

Если бы хоть кто-то сказал ей об этом, она бы не поняла, о чем речь.

Просто не услышала бы.

Часть 2.

Он уже понял, что зря поспешил, что перепутал на перекрестке у путного камня дороги, пошел не по той. И поначалу не заметил.

Но изменить что-либо он был не в силах.

Это было уже не в его власти.

Он подошел к дому Элеоноры. Охрана сдержанно-вежливо впустила его. Он даже не удивился, что его, видимо, знали, хотя внутри этого дома он никогда не бывал.

Была суббота. Здесь вовсю кишело веселье.

Как он понял, собрались все немногочисленные, но очень выверенные друзья Элеоноры.

Ему шумно обрадовались, бросились помогать раздеваться, хоть и помогать-то было вовсе не в чем, но помогали-мешали, предлагали наперебой "штрафную".

Подумал: они и не подозревают, что я не на их пиршество.

И тут же забыл об этом.

Взламывая ушные перепонки, играл какой-то музончик, зарубежного, разумеется, происхождения…

И тут он почувствовал внезапное удушье, надвинувшегося на него вплотную тяжелым горячим смрадом от разгоряченного напитками, сытным ужином, и, Бог знает, чем там еще, ее тела.

– Как я рада, Климов, – горячо выдохнула ему в лицо Элеонора. – Ты даже представить себе не можешь!

А волна тяжелого, чуть не до рвотного рефлекса, удушья все захватывала его, словно проваливался он в чрево некоего гигантского существа.

И оно начинало его переваривать…

Элеонора обхватила его полными горячими руками, и какая-то из побрякушек, которые унизывали их, больно впилась ему в шею.

Он обеими руками оторвал ее от себя, вырвался, отстранился и, глядя жестко, без тени улыбки в небесно-васильковые безгрешные глаза, холодно произнес:

– Ты способна сейчас поехать со мной в загс?

– Завсегда! – весело ответила Элеонора и крикнула куда-то в глубину квартиры:

– Ребята! Мы едем в загс!

И, обернув к нему разгоряченное, почти пунцовое лицо, заговорщицки подмигнула:

– Минуту дашь?

Он молчал, подсознательно пытаясь вклиниться в этот – не свой – ритм чужого бытования ужимок, намеков, кокетства, безудержного полудикого веселяжа.

– У меня и платье готово для этого случая. Сейчас переоденусь. Минута, Климов. Одна минута. Засекай.

И исчезла.

Остальное было, как в тумане.

Шум, крики, "Шампанское", размашистое биение хрустальных бокалов об пол, испуганная сотрудница загса:

– ...объявляю вас…

– Да ладно тебе, – оборвала Элеонора Егоровна. – Покажи, где расписаться!

И кто-то кричал:

– Горько!

А кто-то истошно стонал:

– Мендельсон! Мендельсона в зал! Мендель! Сон!

И, как эхо, стонало в его мозгу это чье-то: "…сон, сон, сон…"

Он не любил пить. Не любил тумана в голове. Он любил во всем ясность и четкость.

И, находясь на этом пиршестве веселых людей, холодно подумал:

– Я умер. Я наблюдаю свои похороны со стороны…

И тут же оборвал себя:

– Глупость. Глупость, повторенная дважды, может стать привычкой. А мне это не надо.

Глава 5. ТЬМУТАРАКАНЬ

Телефон трезвонил и трезвонил и, видимо, давно. Резко, настойчиво, словно скребли железными щетками по стеклу.

Ляля поднялась, прошла в гостиную, взяла трубку.

– Ляля! – кричал в трубке незнакомый отчаянный молодой мужской голос. – Ляля, это ты? Лётчики сказали, что ты приехала домой! Ляля, ты меня слышишь? Ребята прилетали к нам на прииски и сказали, что ты приехала! Ляля, ты меня слышишь?

– Да, – сказала Ляля и удивилась своему неузнаваемо изменившемуся голосу.

Неживому, незвучащему.

Вместо голоса из горла вырывалось что-то, похожее на стук деревянных скоморошьих ложек.

– Ляля! Здесь только радиосвязь, я тебя плохо слышу, но я уверен, что это ты! Я получил после ординату-

ры распределение на прииски. Ближе к вам ничего не было. Мы теперь все здесь. Я привез и маму, и брата – нельзя же было оставлять их одних, ты знаешь. Ляля! Ты слышишь меня? Это я, Андрей. Связь никудышная! Ты меня слышишь, Ляля?

– Да, – глухо брякнули деревянные ложки, и Ляля положила трубку на рычаг черного телефона.

И ушла к себе.

Мимоходом скользнула взглядом по любимому маминому канапе красного дерева с гнутыми ножками, которое выточил отчим золотыми своими руками по маминым эскизам, – диванчик для двоих – изящный, с подлокотниками, опирающимися на точеные завитки, которые она так любила рисовать в своих альбомах, пока кто-то, почти невидимый, с высоты невидимых небес не сказал ей:

– Запоминай все, Ляля! Тебе придется писать обо всем этом.

И она засмеялась навстречу добрым глазам, непостижимо как смотрящим на нее из глубины неба – сквозь крышу, крытую тесом и метровые сугробы на ней, потому что смешным и лишним показалось ей это слово: "Придется".

Больше всего в жизни она любила писать, пытаясь постичь, как казалось ей, невозможное – искусство зафиксировать, удержать, перевести в вечность то временное, секундное, что зацепило чем-то ее внимание, воосуществить и запечатлеть бесценные картины

еще живого, струящегося, образы, возникающие, вьющиеся в ее мозгу иногда на доли секунд…

Но, не запечатленные на бумаге, они уходили, исчезали, канули куда-то в неведомое, все проглатывающее навсегда… И ей хотелось, придержав их, перевести в бессмертие.

"Придется"!

Да радостнее и важнее этого она ничего себе не представляла. Она носила в себе эту радость предназначения с самого рождения на этой земле, и думала, что все живут с этим же чувством смысла, что иначе не бывает.

Быть может, только дети поначалу и знают истину? А потом забывают ее?

Но с той самой поры она все реже и реже рисовала, все больше писала, пытаясь передать скольжение снежинки по оконному стеклу, цветение всегда разных рассветов в заснеженной впадине горы напротив ее окна, когда внизу еще все сине от почти ночных сумерек, а гора уже видит первые лучи солнца и улыбается ей своим гигантским лавиносбором, никому, впрочем, не опасным, потому, что за сотни километров от нее не было в зимней тайге ни человека…

Над маминым канапе висел небольшой цветной офорт в тонкой темной рамке, конечно же, с видом Ленинграда.

Культ этого города жил в их доме, куда бы ни забрасывала самих их судьба.

Ляля не знала, почему.

Чего-то главного ей не говорили, но она знала названия улиц и проспектов этого далекого неведомого города, она знала, что должно бы быть в Эрмитаже, а что – в Русском музее.

Мама, как бы невзначай, называла ей фамилии и адреса людей, дорогих сердцу ее родителей и родителей их самих.

Память эта передавалась то в коротеньких рассказах, то в шутках, то в огромных цветных репродукциях, то в как бы нечаянно раскрытых альбомах по искусству, в которых обязательно был Ленинград.

Ляля знала, что какие-то ее предки родом оттуда, но не понимала, зачем ей что-то знать о них, давно ушедших в землю…

У них в доме всегда была огромная библиотека, Ляля даже не задумывалась над тем, как она попала в ту самую Тьмутаракань, о которой говорила ей в Иркутске Анастасия Николаевна, стоя в залитой лунным светом гостиной с зачехленной мебелью.

Но библиотека была всегда, сколько Ляля себя помнит, и кто-то все время пополнял ее, быть может, потому что все знали, что для ее мамы лучший подарок – книга.

И только позже, разглядывая редкостные альбомы античного искусства, Ляля начинала понимать, что все было не так просто. Слишком выверенно точен был подбор книг. Они не могли быть разовыми случайными подарениями.

Учительнице, не скрывавшей ни от кого своей привычки к перчаткам и шляпкам, а главное, свое умение их носить, кто-то передавал порой, незаметно для Ляли целые блоки книг, особо ценных здесь, в центре гигантской тайги, где не было ни городов, ни музеев, ни больших театров. Но библиотеки были.

Иногда откуда-то, из далекого неведомого центра, приходили указания уничтожить целые перечни книг.

Возможно, думала много позже Ляля, именно тогда лучшее из того, что должно было быть сожжено, тайно перекочевывало в их домашнюю библиотеку под крыло мамы и хранившего их обоих отчима, к которому вопросов ни у кого не было, потому что у него был допуск к самому тайному – связи всех уровней.

Люди знали это. И знали, что тот не выдаст.

Но спустя много лет, когда Ляля была уже за сотни тысяч километров от этих мест, выдали его.

Он чудом остался жив, маме удалось вырвать его не-вероятными усилиями и увезти подальше от тихой безликой Усть-Маи, что чернела деревянными крышами вдоль великого Алдана между устьем высокогорного Аллаха, ниспадающего с высот золотоносных гор Джугджура с севера и тихой лесной Маей с юга, размывавшей в своих потаенных от людей кущах такие многоэтажные захороне-ния, что ясно, было – не век и не десять жили здесь люди, хоронившие своих умерших, по русским обычаям, в деревянных надежных гробах-хороминах…

Полтора года выхаживала мама полупарализованного отчима в чужих краях среди чужих людей, которые за одну эту стойкость особо почитали новую учительницу, считали ее почти святой.

Да, отчима с его детками – он был вдовцом – ей удалось вырвать и увезти.

Как? Ляля ничего не знала – об этом никогда не говорилось в доме. Однажды только она попыталась спросить, но мама отмахнулась – не знаю, дескать, говорят, что в командировке в Якутске с кем-то напился, его избили, не знаю…

И отвела глаза.

Ляля знала, что больше ей ничего не скажут.

Всё было странным в этой истории.

И дерущийся с кем-то синеглазый добродушный веселый гигант – ее отчим-москвич, и поспешность, с которой брошено было все – дом, любимая школа, оборвавшийся чем-то страшным привычный быт, срочный переезд в неведомые Ляле места у Поющей Горы.

Но одно узнала Ляля точно, что всю их библиотеку, оставшуюся в Усть-Мае, кто-то тщательно сжег под присмотром охраны с известными своей свирепостью тюремными овчарками, – так, чтобы ни одна книга не уцелела. Жгли, не стыдясь, свалив все книги в добротный сарай и облив бензином…

Но все это было еще далеко впереди… И пока все было на месте – и библиотека, и витое канапе с ма-

леньким офортом над ним, где был изображен вид на Петропавловскую крепость…

Библиотека занимала стены от пола до потолка, и ей долго не разрешалось брать книги с верхних полок, но как только она научилась карабкаться до самого верха, их-то она и читала, не отрываясь, каждую свободную минутку.

– Кто-то звонил? – спросила, войдя в Лялину комнату, мама.

Ляля молчала.

– Кто-то звонил? – мягко повторила мама.

– Да, – сказала Ляля.

– Кто?

– Не знаю.

– Как? Не знаешь?

– Не знаю, ма. Какой-то Андрей. С прииска. Не знаю.

Она сидела в центре узенькой своей девичей кровати, обхватив руками колени, прижав к ним лицо.

И все эти разговоры ни о чем и ни о ком врывались в ее тишину, словно кто-то злой и настойчивый хотел разбить этот ее стеклянный охранный купол, без которого она не могла существовать.

Но это не был чужой. Это была мама.

– Ляля, – тихо сказала мама, присев на краешек ее постели. – Ты не помнишь Андрея? Это доктор. Врач из Ленинграда. Он в прошлые каникулы вырезал тебе

аппендицит… Мне казалось, вы дружны. Он всегда, при случае, заезжал к нам…

– Ленинград?! Мама, я не люблю этот город. Я его ненавижу. С детства. Почему ты мне все время говоришь про город, который я никогда не видела, не знаю и знать не хочу, мама? Как и Андрея. Мама, я **ни-когда** не знала человека с таким именем!

И мама тихо поднялась, легонько коснулась рукой Лялиных волос.

– Отросли…

– Да, – сказала Ляля. – Все на первом курсе остриглись и сделали завивки, а я…

И осеклась, застыла.

– А вот, я как заплету тебе волосы да в косы! – засмеялась мама, повторив их детскую присказку. – Как вплетем мы сейчас в косички наши ленты алые…

Но при словах "косички наши", Ляля вскинула на маму глаза, на ее чудные всегда ухоженные локоны, которые она любила с тех пор, как помнила себя, и потеплело что-то внутри ее, и теплая эта нежность к матери накрыла всё, что давило ее смертным ужасом.

– Ах, Боже мой, если бы не ужин! – говорила негромко мама. – Если бы не ужин! Надо что-то приготовить. Времени-то уже!

– Пойдем, ма! – сказала Ляля. – Пойдем, приготовим что-нибудь вместе.

– Вот и славно, – сказала мама. – А то мои руки опять расхандрились…

– Я помню о твоих руках, мама, – сказала Ляля и прижалась лицом к стоявшей у ее постели матери, обхватила ее, утонула в мягкой серо-голубой ткани строгого материнского платья, вдыхая и вдыхая неповторимый мамин запах, настоянный на "Белой сирени" и чем-то таком родном, чему и названия нет.

И высыхали в глазах Ляли невидимые слезы и тончала черная лохматая тяжесть, заполонившая было ее душу.

А в это время с грохотом распахнулась входная дверь, и маленькая кухня-прихожая заполнилась мужскими голосами, людьми, одетыми в зимние летные куртки и собачьи унты и голос отчима, вошедшего, как и положено было хозяину, вслед за ними, весело погромыхал:

– Гостей принимаете?

Не зря говорят: гость в дом – Бог в дом!

На Севере негласное это правило соблюдалось всеми. Север – это труд. А дом – отдых. Кто же откажет в отдыхе усталому человеку? Не по-людски это было бы, не по-русски.

И кто-то уже черпал ковшом ледяную воду из бочки, стоявшей поближе к порогу, и заполнял ею большой пузатый чайник, а кто-то весело спрашивал:

– А пельмени будут?

– А как же! – весело говорила Ляля, накидывая на плечи овчинный тулупчик и, схватив тазик, бросилась в темные сени, к кладовке, где всегда на такой вот слу-

чай хранилось штук 300 домашних пельменей, заранее заботливо приготовленных в свободный вечерок всей семьей, где стояла большая кадка заготовленной с осени квашеной капусты – привезенной для северян последними баржами из тех далеких мест, где она росла и вызревала, – и с яблоками, и с клюквой, на любой вкус.

Там же стояли огромные янтарной фанеры ящики из-под "Беломора", наполненные лесной крупной черной смородиной, за которой ездили всем поселком через Алдан, в грибные и ягодные места, про которые не все чужие и знали. А в поселке чужих не было.

Изредка проходил этап – все синеглазые да молодые, и ребятишки обсаживали ближайшие к площади заборы, чтобы получше рассмотреть новеньких.

В Сибири в те времена чужих не было.

А отчим уже снимал тяжелую добротную крышку с ледника, вырезанного под полом в вечной мерзлоте, на которой хранили осетрину да прочую не везде встречающуюся рыбу, из которой перед закладкой на хранение обязательно вынимали визигу, чтобы не отравиться.

И на столе появлялись уже грибочки, варенья да разносолы, да знаменитые домашние ликеры и наливки, которым обучили маму здешние поселенские женщины, умевшие все – и лечить, кормить.

И большие взрослые дяди кланялись Лялиной маме, склоняли головы к ее хрупкой руке и, называя своей Первой Учительницей, благодарили.

И что самое странное, она помнила все их имена и судьбы, помнила их проказы, шалости и достижения, знала их матерей и бабушек – тех, что растили их и за отцов, и за дедов, потому что после войны взрослых мужчин на Руси почти не осталось.

К столу она садилась последней и тихонько радовалась веселому смеху и доброму аппетиту сидящих за столом.

Но никто тогда не знал, что через год, в следующую зиму погибнет экипаж Васи Ларина, а чуть позже не станет и ребят Володи Калмыкова, которые повезут в дальний якутский поселок экзотический подарок к новому году – мандарины.

Да только отведет их глаза морозный туман, да застынут не на тех рисках все приборы, и врежется их самолет в середину сопки, которую в ясную пору никто и горой не величал.

И все погибнут.

Только рассыплются по якутским снегам солнечные рождественские мандарины…

Глава 6. ДЕЛА КУЛУАРНЫЕ

Элеонора царственно возлегала на огромном ложе в самой, как ей думалось, соблазнительной позе, чуть прикрывшись – кокетства ради – прозрачным розовым пеньюаром, ничего, между прочим, скрывать и не должного – не для того и покупалось!

И Саша, вошедший в спальню, чтобы попрощаться, увидев это, отшатнулся, замер на пороге, заледенел.

Внизу неприкрытого круглого живота Элеоноры, вместо ослепительного рыжего солнышка, которое он и видел-то только однажды, была черная мохнатая шерсть…

Он застыл. Онемел.

…Да, он обнаружил это однажды, когда случайно сунулся в комнату, через которую девчонки Лялиной группы после душа шествовали в бассейн, и, замер, увидев живых богинь. Но только одна из них несла внизу плоского спортивного животика золотой солнечный свет.

И это была Ляля.

Ошеломленный, он не мог оторваться, словно дивное это золотое сияние, делавшее ее кожу невероятно светящейся белой, вдруг превратило всю ее в существо, высеченное из белого мрамора.

Он еще не осознал этого превращения, как в ту же секунду рядом с ним раздался свирепый рык, и маленькая толстушка в телогрейке с веником, сурово

отогнала его от приоткрытой двери, обозвав заодно охальником и прощелыгой, и пообещав сейчас же вызвать милицию.

– Простите, – сказал он. – Я ошибся дверью.

И быстро ушел. Но уже тогда он знал, что умирая, вспомнит это: несущую сияющий солнечный блик мраморную девочку.

Он забыл, что так и должно быть, что большинство женщин…

"А я то-тут при чем?" – подумал он, все еще не вполне в себе.

Элеонора, восхищенная эффектом, улыбалась.

– Мне пора, – сказал он. – Надо уладить кое-что.

– А первая ночь? – капризно пропела Элеонора.

И, усмехнувшись, полыхнула сквозь черные роскошные ресницы синим откровенным взглядом:

– Ну, хотя бы утро? Почему надо уходить сейчас?

– Потому, что у нас с тобой через сутки самолет.

– И целая вечность, – сказала Элеонора.

Он развернулся и вышел.

Она нагнала его на пороге.

– А поцеловать? Ты неотесанный мужлан, Климов! Жен перед уходом целуют. Иначе – плохая примета.

– Да? – произнес он машинально, мысленно уже находясь не здесь. – Жен?

– Ну, да! Я, ведь, твоя жена, Климов. Ты забыл?

И она привычно сдавила его шею полными сильными руками, прильнула. А он, словно впервые увидев вплотную к своим глазам ее черную, как смоль, голову, отшатнулся, как от кошмара.

– Что с тобой? – мяукнула Нора. – Что?

– Я не замечал, что ты брюнетка, – глупо сказал он.

– Жгучая брюнетка, Климов! – вызывающе поправила Элеонора. – А что вы вообще замечаете вокруг себя, гении? Кроме своих формул? Ничего. Ты что, думаешь, "20-ка" в Долгопрудном просто так существует и никого там из вас, сошедших с ума гениев, там нет? Целуй! И тебя там никогда не будет!

Он упрекнул себя за хамство и грубость – не ее вина была в том, что происходило с ним, не ее.

Ни в чем не было ее вины. Просто, это был другой мир, и здесь жили по своим законам.

Он поцеловал ее в лоб и резко вышел.

Был воскресный день. Идти ему было некуда. Он сел в электричку до Москвы, пересел в метро, вышел на Кропоткинской и пошел к любимому музею Ляли, о котором столько писала она ему в ответах на его письма.

О французской живописи, о заломленных руках египетских плакальщиц, о мраморных гробницах Медичи…

– Хотя бы так. Хотя бы так я попрощаюсь с нею, – подумал он.

И первое, что он пошел искать – ее любимые залы.

Залы французской живописи.

В какое-то мгновение он подумал, что ищет то, чего не потерял и никогда, по одной этой причине, не найдет. И тут же закралась под-

ленькая мысль – ну да, конечно, за одной из колонн... вдруг... мелькнет... мраморная девочка...

Он отринул эту мысль, но в ту же секунду на повороте красной дорожки главной лестницы, мелькнуло, полыхнуло…

Ляля!

Он не слышал своего голоса, но, видимо, он крикнул, потому что тихие благовоспитанные люди дружно отвели от него глаза, за секунду до этого зацепившись за его крик.

Он запретил думать себе об этом.

Но легко запретить!

Он шел вдоль полотен, о которых столько писала она ему, он смотрел на вибрирующий воздух Парижа, он только начал дышать им, как взгляд рванулся к тому, о ком она рассказывала чаще всего, он сразу узнал их – смуглые таитянки Поля Гогена, спелые, сочные плоды, – все примитивно и просто, словно рисовал эти картины ребенок, наслаждаясь теплым воздухом, странным негромким говором женщин, говорящих, конечно же о своем, сокровенном, не для мужских ушей предназначенном:

– А ты ревнуешь?

Он слышал их смех, он видел их обиду, прикрытую чернотой глаз…

И нашло, неизбежно нагнало, накатило – ее смех, ее голос…

И, не отдавая себе отчета, он стремительно вышел из музея, прошел сквозь уютный двор – это был ее и

только ее! – двор, ему казалось, обернись он на мгновение, внезапно… Впрочем, и этого не надо было делать.

Он просто чувствовал, что она здесь, везде, вокруг и внутри него, и, сжав желваки, отчего лицо его стало нечеловечески каменным, и только серые "в крапинку", как говорила она, глаза его излучали живую невыносимую боль.

Он пересек улочку и оказался на краю бассейна, где плотно закутанные от всевозможных простуд женщины-тренеры, склоняясь к дорожкам гигантского, как ему показалось, черного бассейнового пространства, рассеченного секторами дистанций, что-то кричали плавающим в бездонной черной глубине пловцам.

И над всеми ними змеился, клубился дикий неистовый туман, нет, не туман даже, а дикие порождения его нечеловеческого бреда, крутились, штопором вонзались в недостижимое небо, змеились над черными водами, исполняя свои ритуальные танцы, чтобы навсегда утопить, увести за собой то, что еще, оказывается, билось трепетным огоньком где-то в самой потаенной, скрытой от него самого глубине его уже умирающего, перерождающего существа.

Саша не помнил, сколько смотрел он на это сюрреалистическое зрелище, пока кто-то не произнес рядом:

– Любуетесь? Или ждете? Наверное, и Ваша там же. В шубе, или среди голеньких, в шапочках? Резиновых…

Климов отвернулся и пошел к метро, чтобы через мелькнувшее мимо него время оказаться в тепле и уюте, в кольце мягких, как из только что испеченного теста, рук. И ощутил, что ничего ему больше не надо.

Уют, не мешавший работе, не сводивший с ума, не уводящий во что-то далекое, неведомое и совершенно ненужное ему, Климову, привыкшему за годы долгой учебы, бесконечной отточки и без того, казалось бы, совершенного мозга, обходиться без всяких там чужих музеев.

Теперь ему ничто не мешало.

Ничто?

И вмиг сжало, скрутило его видение из того, что не хотел бы он никогда помнить: белоснежная простынь и пятнышко крови… И крик.

И ужас в ее глазах, словно примагниченных к красному пятнышку, и ее белые-белые пальцы, сжавшие рот, чтобы не дать повториться крику.

И сыпал снег за окном, и показалось, что это такой ненужный фонарь изогнул пространство параболой, отчего всё вдруг сместилось, и откуда-то, словно из другого измерения, чуть слышно пробивался к нему голос Козловского:

"…Нельзя молиться за царя-Ирода! Богородица не велит!.."

"Зачем я тогда вернулся?!" – подумал он.

Ему не хотелось жить.

Глава 7. ЗОЛОТЫЕ ПЛОДЫ

И мели снега, и засыпало белым бессмертием крохотные дома людей, ими же и собранные из стволов таежной лиственницы – дерева уникального, словно бы кто-то высший, обладающий всезнанием и бесконечной добротой к таким сильным и таким беззащитно ранимым людям, раскидал по тайге семена этого могучего древа, в котором все – для человека.

И смеялись за добрым столом, готовясь к новым путям-дорогам молодые сильные люди, и никто не позволял себе думать о плохом. Да и зачем, когда крыша над головой, теплый дом, пища на столе и рядом люди, которые никогда не подведут.

И до страшных тех потерь, что затаились в будущем, было еще время, и яркие солнечные плоды еще только созревали в далеких от Якутии землях, и растившие их люди, конечно же, и представить себе не могли, какая судьба уготована им в далеких снегах Приверхоянья.

Что за стол без прибауток? Рассказывали, смеялись, делились новостями, искоса поглядывая на Лялю – и чего это она здесь посреди учебного года в этакой-то глухомани, косились, но не спрашивали.

Надо – хозяева сами скажут, нет – не их дело, значит. Сами порешают.

Ляля поднялась. Бросила сумеречный взгляд на маму. Вышла.

И первый раз стало страшно матери за судьбу первенца своего единственного, потому как Ивановы дети, хоть и были сиротскими, неродными, значит, но у них хоть в таком вот сочетании были отец и мать.

Да и двое – не один. Вдвоем всегда проще.

А у этой – никого…

От себя мать никого из троих не отрезала. И всё-таки…

Она побыла еще за столом. Добавила, кому хотелось, добавочки, спросила:

– Ночевать у нас будете?

– Если позволите…

– Позволю, – сказала мать. – Поздно уже в Аэропорт пешком, да по такому морозу.

А мороз был знатный. И кто не бывал в его ледяных купелях, тому и не расскажешь.

Ей впервые не хотелось вставать, подниматься, мчаться, подчиняясь привычному стремительному ритму жизни, из которого она так вот, вдруг внезапно и повинно выпала.

Ей не хотелось ни видеть, ни слышать людей – ожогом опаляли любые встречи, и потаенное, скрытое от нее самой чувство самосохранения заставляло закутаться поглубже в одеяло, закрыть глаза и ничего не помнить.

Она не заметила, как заснула, и только ма, прибежавшая во время пересменки, разбудила ее легоньким прикосновением к голове, отчего Ляля, вздрогнув, испуганно вскочила.

И впервые за все ее 17 лет мама не узнала глаз дочери.

В них стоял глубокий бездонный ужас.

– Прости, – тихо сказала мама. – Прости. Я на секунду. Ты спи.

И вышла.

А Ляля снова погрузилось в то, что ни сном, ни дремотой, ни чем, означающим живое, не назовешь.

Ей ничего не снилось, словно мозг затих, замер, стараясь не мешать, и, проснувшись на следующий день под утро, Ляля села в своей девичьей кроватке, обхватила колени тонкими, почти прозрачными руками и затихла, словно никогда и нигде ее не существовало вовсе.

Одного боялась мать, одного. Только бы пришла в себя, только бы очнулась. Только бы…

Она зашла к подруге-врачу, спросила:

– Что делать?

– Работать, – сказала та просто. – Надо взять академический отпуск и работать. Здесь. Дома. И никуда! По меньшей мере, год – никуда! Иначе потеряем девочку.

Мама молчала.

– Хочешь, я сама позвоню в институт? – спросила подруга.

– Вот – нет! Ты врач. Тебе как раз и не надо звонить.

– И что? Я им скажу, например, что у тебя… прости… инсульт..

– Нет, – сказала мама. – Это ведь нетрудно проверить.

– Да, – сказала подруга. – Я просто отупела. Но нужен отпуск. Академический. И немедленно! Только это спасет ее.

– Хорошо, – сказала мама. – Я сейчас позвоню. Сама.

– Звони прямо сейчас. От меня, – сказала подруга.

– Да, конечно! – и в эту же секунду она поняла, какой оплошностью было бы звонить из дома.

Трубку взяла Зинаида Сергеевна. Декан. "Моя вторая мама", смеялась Ляля. Когда-то смеялась…

– Ляле нужен академический отпуск, – сказала мама. – Это можно?

Зинаида Сергеевна, любившая Лялю, как свою дочь и не только потому, что та была такой, как была, но и потому, что та, сама не зная об этом, каким-то непостижимым образом включила в водоворот радостного светлого своего жития "маму-Зину", притушила страшную неизлечимую и непреходящую ее боль от потери обоих сыновей.

Не заменила, нет. А чуть восполнила брешь, которую оставляют в людских душах такие беды, и судьба этой солнечной, как светлячок, девочки вошла в ее жизнь тихо и незаметно, словно всегда так было.

– Так это можно? – спросила Лялина мама.

– Да, можно, – сказала Зинаида Сергеевна. – Мы вышлем ей стипендию за весь учебный год. Это мало, конечно, но все-таки… Нужна причина… Ладно, не

ломайте головы, мы сейчас же все оформим. Берегите ее. Скажите только, чтобы за отпуск не волновалась.

– Как оформите? – спросила мама.

– Как творческий. Может же она заняться языком эвенов, например. Уникальнейший язык. Пусть возьмет тему космогонии древних эвенов. Это может стать интереснейшей научной работой. А Сорбонна подождет. Потому, что Ляля привезет готовую уникальную научную работу, лекцию, которую можно будет читать студентам, и это оценят!

– Сорбонна? – удивилась мама.

– А Ляля не сказала? Она должна была ехать в Сорбонну на стажировку, но исчезла. Я, признаюсь, голову потеряла. Хотела уже звонить. Но Вы опередили… Повторяю, Сорбонна подождет. Сделаем, как договорились. Документы я вышлю. Вот только потребуется ее заявление по той тематике, о которой я сказала. И срочно!

И засмеялась:

– Вы представить себе не можете, как ей будут завидовать!

И опять засмеявшись, попрощалась.

Женщины переглянулись.

– Я к Ляле, – сказала мама.

– Да-да, конечно! Но – Сорбонна!

– Люда, – тихо проговорила мама. – Я сама ничего не знаю. Ничего!

– Пробьемся, – сказала мамина подруга. – Пробьемся.

***

– Мама! Наконец-то!

Ляля все так же неподвижно сидела на кровати, закутавшись в одеяло.

– Ты температуру мерила? – спросила мама, и Лялю удивил этот такой домашний, будничный вопрос.

"Температура"!

– Да ты вся горишь! – воскликнула мама, прикоснувшись губами к ее лбу. – Ты вся горишь! Ложись-ка по-настоящему, не время болеть и прохлаждаться!

Ляля послушно легла, ее немного удивил неожиданно бодрый голос мамы. Так, будто ничего не произошло, ничего не случилось. Просто заглянула домой. На каникулы. Только время было не каникулярное, и они обе это знали.

Но Ляле было все равно. Заболеть, и никогда больше не подниматься – вот, чего больше всего на свете хотелось ей.

– Тебе дали академический отпуск. Лучше – творческий.

– Ты говорила с деканом?

И маму снова поразил мелькнувший в глазах дочери бездонный ужас.

– Никогда! – Ты слышишь меня, мама, никогда я не вернусь в этот город!

"Ах вот, оно что, – подумала мама. – Вот оно, что!"

– И не надо, – произнесла она вслух. – Год ты проработаешь здесь.

– Что?! – Ляля резко села. – Что?!

Мама рассказала о разговоре с деканом.

– Как ладненько вы все устроили, даже не спросив меня, – деревянным безразличным голосом произнесла она и снова легла, закутавшись в одеяло.

Ее действительно морозило.

– А надо было? – сказала мама.

– Что?

– Спрашивать.

Ляля молчала.

– Вот видишь… Будет новый день, будут свои проблемы, а пока – градусник и выздоравливать. Немедленно! Три дня – это самое щедрое, что ты можешь истратить на эту простуду. Три дня.

От Автора:

Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Вот смотрю я на эти две судьбы и всё думаю, а что же дальше-то с ними было? Не знаю.

Только не выходят у меня из головы три фразочки: "Двадцатка в Долгопрудном", "...Я тот Ангел, которого бросила девушка..." и "Сиреневый туман" – тот, старинный, где не "кондуктор не спешит", а "конвой наш понимает..."

И с чего бы это? Да кто ж его знает!

***

Не обошлось тремя днями. Не ограничилось.

Метели завьюжили реку, и благодаря лютому морозу, сковавшему метровыми льдами великие реки,

обзавелся Север зимниками – белыми дорогами, хоть и, порой, смертельно опасными – вон, сколько памятных венков вдоль горных серпантинов! – но жизненно важными.

Зимники да самолетики, которые выполняли роль, куда большую, чем в иных городах, такси, – были крепчайшей связующей нитью между людьми, без которой вымерз бы весь русский Север, включая незабытую Аляску, еще изображавшуюся на школьных картах кривенько, сверху, над полушарием, как кусок всё ещё непроданной русской земли, о чем хорошо знали создатели карт.

Глава 8. ЗЕЛЕНАЯ ГУСЕНИЦА

Саша отвернулся от бассейна и странного мужичка с его нелепыми вопросами и пошел, не думая, куда и зачем.

Он не заметил, как оказался на площади трех вокзалов. Подошел к какой-то из касс и спросил ближайший билет на Север.

– А точнее? – женщина вынырнула из окошечка откуда-то снизу и пыталась рассмотреть его, но скоро ей это надоело.

– Так куда – на Север? В Петрозаводск, что ли?

– Да, – сказал он. – Если он – ближайший.

– Так бы и говорили сразу. А то – "на Север". Север, между прочим, большой и разный.

И пока она так не зло ворчала, она успела оформить ему билет, не спрашивая, какой нужен.

Он поблагодарил и услышал, как она крикнула вслед:

– Вы поторопитесь! Через полчаса отправление. С десятой, левая сторона. Посадка уже.

И, только сев на полку в заполненном уже купе, он облегченно вздохнул. Решение было принято.

Он достал из внутреннего кармана блокнот, с которым никогда не расставался, и сразу погрузился в расчеты, от которых на столько времени оторвали его какие-то глупости.

Проверяли билеты, приносили белье и горячий чай, но ничто ему не мешало, он давно привык работать в любой обстановке.

Кто-то проходил, заходил в купе и выходил снова, люди готовились к ночлегу, но никто ему не мешал, никто не отрывал от дела, и, добравшись до одной из точек в расчетах, которая показывала, что он не ошибается, почувствовал, как теплое умиротворение заливает душу. И внутренне улыбнулся.

После чая все улеглись по местам, и он сразу заснул, словно провалился в пуховую детскую колыбель, когда человек, засыпая, ничего не знает о предстоящем, и в знании этом не нуждается.

Проснулся он посреди ночи, внезапно, как от толчка.

Поезд стоял.

Он посмотрел в неожиданно чистое окно и в первый, а может быть и в последний раз в своей жизни увидел звездное небо так, как его рисовали на своих картах древние эллины.

Зрелище завораживало.

Золотыми тончайшими нитями, россыпью невидимых обычно мельчайших звезд, мелких, как звездная пыль, или золотой эвенкийский жемчуг, которым вышивают залетные на Индо-Европейский континент узкоглазые мастерицы свои одежды из оленьих и собачьих шкур, разрисован был небосвод всеми персонажами древнегреческих мифов.

Ни один не был не упущен. Ни одну легенду не стерло, не забыло небо.

– Так Вы в Петрозаводск? – спросил Сашу сосед с койки напротив.

– В общем-то…

– Физик?

– Угадали…

– Не трудно угадать. У Вас на лбу это написано.

Саша усмехнулся: печать физтехов.

– Вот тут Вы ошиблись, – сказал он. – Я еще не защитил диплома.

– А когда защита? Меня интересует, сколько курсов Вам удалось…

– А… – сказал Саша.

– Вы такое небо где-нибудь в Северном полушарии видели? – спросил сосед.

Саша промолчал.

– То-то! – продолжал незнакомец. – Такие это широты. И точка уникальная. И нам нужны физики. А диплом не сбежит.

Пока сбежал, кажется, я, подумал Саша и откинулся на спину.

Странным и ненужным казался ему этот ночной разговор с незнакомым попутчиком в остановившемся где-то в пустом поле под Петрозаводском поезде, неподалеку от городка, где он и бывал-то всего однажды.

Там был один из факультетов их разраставшегося Института, и друг пригласил его на свадьбу.

"Когда, кстати, это было?" – подумал он.

И, по совершенно необъяснимой логике, мелькнуло, ворвалось в мозг: "А я, ведь, и не знаю, сколько Ляле лет…".

Подумал внезапно и неожиданно.

"Наверное, я намного старше ее. Насколько? Быть может, поэтому она смотрела на меня как на инопланетное существо. Зеленая гусеница в зеленой траве, сразу и не поймешь! – вот, чем был я для неё! Явление не ее галактики…"

И тут же ворвалось в мозг видение горячей, не скрывающей желания Норы. Этой не надо было говорить: согни колени.

Она все знала и без него, все умела, и не скрывала ни от кого своей простоты в отношении к сексу:

– Это не я. Это тело хочет. А его надо ублажать. Оно дается нам только один раз в жизни и прожить ее надо так, чтобы…

Как же так случилось, подумал он, что это я ничего не понял? Не она. Я.

И сжало, обожгло отчаяние от острого понимания, что ничего уже не изменишь, ничего не вернешь, ничего не исправишь…

Ему тогда удалось вырваться из Москвы всего-то на пару дней. И сестра с подружками предложила устроить вечеринку в честь удачной предзащиты и внезапного отпуска.

– И Лялю пригласи. Ты, ведь, без нее ни шага, – с легкой издевкой в голосе говорила Валентина. – Тем более, что у Сиротенко на пару недель пустая квартира, а ключики вот, они! Я там цветочницей подрабатываю!

И Валентина прокрутила наброшенное на палец колечко с какими-то ключами перед ним, а он даже обрадовался:

– Чудесная идея. Ляля познакомится со всеми вами сразу, ей не будет здесь одиноко!

И кольнул жалом быстрый скользнувший по его лицу взгляд сестры, но он отмахнулся от дурного предчувствия.

– Так я к ней, надо, чтобы она выкроила назавтра вечерок!

– На сегодня! – поправила Валентина. Завтра, ведь, ты улетаешь!

– Ах, да, я совсем забыл о Москве, – сказал он, глупо, счастливо улыбаясь.

***

– Так давайте-ка Вы к нам! У нас такое затевается! Не пожалеете. И физики нужны нам, как воздух! – внезапно произнес сосед с койки напротив, о котором Саша уже забыл.

– Куда это – "к нам"? – холодно спросил он.

– А в Плесецк. Слышали про такой?

Вот, оно что, подумал Саша. Вот, оно что… Новый космодром.

– Спокойной ночи! – сказал сосед. – Утро вечера мудренее. Подумайте, Саша.

– Так Вы знаете меня?

– Конечно. Я был на Вашей предзащите. Виртуозная, кстати, вещь. Я получил… э-э… как это сейчас говорят? Эстетическое наслаждение. Спокойной ночи.

"Эстетическое наслаждение..."

Господи, ведь, это – фраза из письма Ляли! Она писала о том, что познакомилась с любопытным художником, скульптором, и он уговорил ее сходить вместе в картинную галерею – там готовилась его персональная выставка…

Конечно же, думал Саша, я понимал, что письма просматриваются. Но чтобы так тщательно…

– Спокойной ночи, – произнес он вслух. – Так я должен бы знать Вашу фамилию.

– Все бы должны. Да не всем дано.

И сосед издал нечто, похожее не то на сухой кашель, не то на смешок и отвернулся к стене.

"Ну, конечно, – подумал Саша. – Такие предложения случайными не бывают. Но не мог же он предвидеть, что я вот так… неприлично… просто сбегу!"

А впрочем, что мы знаем о тех, кто предопределяет наши шаги? Маленькие серые ушастые мыши-вязальщицы со спиралью ДНК на спицах загадочного вязания, скользящего по серому фартуку сапожника в бесконечность.

"Я глупее, чем думал. Я намного глупее…"

Не понял, почему она была так доверчива, не понял, почему ее так удивляли глаголы мужского рода, не понял, почему, пока все, разгоряченные вином и ужином, спорами о новых книгах и фильмах гудели на кухне, он, зацеловав, увел ее в полутемную комнату, быстро разделся, а она присела рядом и, разглядывая его, спросила вдруг:

– А почему у тебя такая странная грудь?

– То есть? – засмеялся он.

– Почти женская. Округлая… Я думала, что тут… – И она чуть коснулась пальцем его груди, провела по

ней. – Я думала, что у мужчин эти мышцы должны быть плоские и твердые, как квадратики, как плитки…

И, совершенно теряя голову от этого прикосновения, он обхватил ее, перевернул, как перышко, говоря, что плитки – это у атлетов, и он займется атлетикой обязательно, и в тот же момент прошептал это ей прямо в ухо:

– Согни колени!

А через секунду услышал страшный, звенящий болью долгий крик и почувствовал, как ее зубы вонзились в его рот.

Он сразу отрезвел. Понялся.

– Прости!

…– Что случилось? – невинно спросила Валентина, когда они на секунду заглянули на кухню, чтобы забрать маленькую сумочку, висевшую на спинке стула на ремешке, как не бретельке.

В кухне синим туманом стоял дым от сигарет, гремели споры, играла какая-то музыка – никто ничего не заметил и, уходя, он бросил взгляд на нетронутый бокал Ляли.

Ах да, она же говорила, что никогда в жизни не пробовала никаких вин, гимнасткам это запрещено…

Только тогда он не придал этому никакого значения.

"Я глупее, чем думал. Боже, я намного глупее…", – снова подумал он и отвернулся от глядевших в окно героев античных мифов, напоминавших, что всему своё время.

Да. Солнце заходит и восходит, луна светит и исчезает на три дня...

И пока не пройдёт 10 лунных месяцев, не родится нормальный ребенок. А родится слабый, ему помогают.

Но все равно и для него зайдет солнце, а для кого-то снова взойдет…

И нет нового, чего не было уже в веках, бывших до нас.

Так сказал мудрый Экклезиаст.

И только мама, его мама, все поняла, подумал Саша. Она знала то, чего не знал, не видел он: Ляля не умела лгать.

Ни словами, ни взглядом. Рыжая белка на вечнозеленом кедре, впервые увидевшая на снегу неведомого зверя – Охотника.

Вот, кем она была.

Дитя, разглядывающее зелёную гусеницу в зелёной траве!

И этим инопланетным незнакомым существом, этой гусеницей в зеленой теплой, пронизанной солнцем траве ее еще не растаявшего в ней детства был я.

А я ничего не понял…

Глава 9. ТАЕЖНЫЙ ДОКТОР

Часть 1. Гость.

Андрей ворвался в их избушку внезапно, трижды громыхнув приличия ради о притолоку двери, распахнул ее, не дожидаясь ответа, вошел, зная, что здесь ему всегда рады.

Осели клубы морозного тумана, стекли вниз, к собачьим унтам, и только белым редеющим паром долго дымился он еще вдоль рысьей ушанки и черного, совсем не таежного пальто – единственное, в чем Андрей не считал возможным отказать себе.

Было оно – изящного московского кроя, щегольски недоступное всем прочим, – деталь, позволявшая ему всегда помнить, что он – врач, и врач московской великолепной школы, после которой они, выпускники московских и ленинградских вузов, обязанные отработать по пять лет где-нибудь в Тьмутаракани, могли вернуться домой.

Вернуться, оставив по себе добрую память, в которой всегда таился отблеск славы великих городов, пославших их на полупустые ссыльно-каторжные окраины не только лечить, учить, обучать различным ремеслам людей, оторванных расстояниями от центра России с его всевозможными благами, но и образовывать, на собственном примере показать, что значит быть русским.

Андрей сорвал с головы шапку и широко, всей синью глаз излучая радость, сказал:

– Не ждали? А тут синоптики дали окошко, мы и проскочили.

Разрозовелась мама, заулыбался такой же высокий и синеглазый, как и гость, москвич-отчим. Были они с Андреем почти земляки, а в этих краях, считай, что родные.

Обнялись, похлопав друг руга по спинам.

– Раздевайся, Андрюша! Как же мы тебе рады, давай, давай к столу. Замерз, небось, – смеясь, говорил не отличавшийся разговорчивостью отчим.

Но это был особый случай.

– Ну, рассказывай, как там у вас на приисках дела?

– А все по-старому! – улыбчиво отвечал Андрей, – остро вглядываясь потемневшими вдруг глазами туда, где в дальнем углу у старинного резного шкафа красного дерева светлела девичья фигурка.

И, сумеречно взглянув на гостя из-под тёмно-рыжего полукружья ресниц, затеняющего глубокую темную зелень глаз, растаяла, исчезла та, ради которой рвался он сюда, в долину безбрежного Алдана.

– Ляля! – негромко окликнул Андрей.

И тут же, отчиму удивленно:

– Куда она?

Тот промолчал, рукой показал на умывальник, закурил "беломоринку", молча присел к столу.

– Приболела, Андрюша, она немного. Вот и пошла к себе, – сказала мать, и тут же, спохватившись, что говорит не абы с кем, а с врачом, главным доктором всего уголка их таежной глухомани, смутилась.

– Приболела? – строго переспросил Андрей.

"Такого никто не обманет. Да и мне ли учиться-то тому, без чего всю жизнь прожила!" – подумала мать и молча кивнула.

– Что с ней? – спросил гость, и в голосе его уже не было ничего личного. Спрашивал доктор.

– Не знаю, – тихо призналась мать.

– Температура?

– 37,5 – около этого держится.

– Давно?

– Третий день.

– Что принимает?

– Ничего.

– Что делает?

Мать тихо, как стон, прошептала:

– Молчит…

– Плохо, – сказал Андрей.

– Давайте-ка все к столу! – произнес отчим, снимая белозубой улыбкой напряжение, нависшее в комнате. – Вот и чай уже готов. – К столу!

И все починились.

А отчим уже разливал по кружкам им самим приготовленный чай – таежная привычка – заваривать по-своему, только себе это доверяя, считая себя лучшим

знатоком чайного бога, потому, что не всегда были в тайге настоящие-то чаи, иной такого заварит!

Вот и привык он, протягивая линии связи по всей Якутии – от южных ее окраин до Северного Ледовитого – сквозь болота комариной тайги, доверять заварку чая только себе.

И привычка эта оставалась с ним всюду. Да и то правда, вкуснее его чая ни у кого не получалось! Вот, бывает так!

– Понимаю, что плохо, – сказала мама. Понимаю… Ей предложили взять академический…

– Что?!

– Творческий. Годичный. Перед стажировкой в Сорбонне.

– Тема? – спросил Андрей.

Он все еще думал о странном поведении Ляли, о температуре.

"Она даже просто не кивнула мне," – подумал он.

– Эвенкийские поверья, – сказала мама. – Точнее, что-то вроде космогонии древних эвенков.

– Вот как?

Наконец, Андрей улыбнулся.

– А это может оказаться действительно очень интересно! Вы, ведь, в центре Эвенкии живете. Везде вокруг их стойбища.

– Я знаю, – сказала мама. – Их дети у нас учатся. Для них построен целый интернат. Впрочем, ты и без меня это знаешь.

Андрей улыбнулся.

– Очень одаренные дети. Вот только живут они мало. Правда, после открытия антибиотиков…

И снова Андрей улыбнулся:

– Поэтому мы и снаряжаем регулярные медицинские экспедиции. Обследуем дальние улусы. Начали с них. Вскоре – очередная, кстати. Врачи всех основных специальностей, прививки малышам. Со школьниками зимой проще. А вот там, в улусах…

Чай был хорош. Мама межу разговорами ухитрилась нажарить гору "оказиков" – так называли здесь домашние беляши.

– А теперь – кушать! – сказала она, ставя в центр стола тарелку румяных оказиков. – Кушать, кушать!

И присела к столу, улыбчивая, светлая.

"Как они похожи с Лялей", – подумал Андрей. – "Удивительная порода… Впрочем, одичал я совсем в горах-то. О людях, так нельзя… Скоро начну, как уролог наш… и засмеялся:

– После одной из экспедиций уролог наш Нина Павловна у тугунков мочевой пузырь искать принялась. Вместо того, чтобы ими закусывать…

Ее спрашивают, ты чего это в тугунке копаешься?

А она голову подняла, очки поправила. Серьезная такая. В руках нож с вилкой.

Не могу понять, говорит, где у них мочевой пузырь расположен!

Смеялись.

Но краткие и обязательные экспедиции эти изматывали. Дорог в тайге легких не бывает. И работы – тоже.

– А пусть-ка Ляля присоединиться к нам. Ну, хотя бы в качестве стажера-лаборанта. Или переводчицы. Мы через неделю едем. Старики там есть. Очень интересные. Если разговорить. А она разговорит!

– Об этом, – сказала мама. – Не со мной.

– Хорошо, – сказал Андрей. – Я заеду за ней через неделю.

Он поднялся, широко улыбаясь:

– До скорого!

Часть 2. По ту сторону

Это были простые времена, осененные верой, что после такой войны и такой Победы, до которой живыми да неискалеченными физически ли, душевно ли, добрались так немногие из бескрайнего прежде народа, умевшего в каждой семье вырастить по пять-восемь детишек, – после такого всеобщего бедствия и всеобщего – через горе сча-стья! – плохого уже никогда не будет. Ни в мире. Ни в людях.

Короткий праздник всеобщего доверия. Перемирие у водопоя перед Большой Засухой.

Но тогда об этом некто даже подумать не мог.

Но так сложна и многоэтажна жизнь человеческих поколений, что даже этот краткий мир таил в подвалах своих такую тьму, о которой и думать страшно.

А если кто и мог знать, то старался не говорить о ней громко, чтобы не шуметь, не портить счастливым жизнь.

Особенно жалели и берегли подраставших в войну малышей, которые им, солдатам Великой Отечественной, были дороже собственной жизни, – ради них воевали! И хотели видеть их счастливыми. Во что бы то ни стало…

Саша вышел на перрон вместе с соседом по купе. Тот, прощаясь, протянул ему узкую строгую визитку, спросил:

– Надолго здесь?

– Нет, – сказал Саша.

– Тогда до завтра.

И чуть заметно козырнув, ушел к ожидавшей его неподалеку от летного поля машине.

Саша подошел к будке телефона, набрал номер. Ответила женщина.

– Лена? – спросил так, на всякий случай, чтобы скорее не узнать, а понять, узнают ли его.

– Шурик, ты где? – зазвенел в трубке веселый ясный голос, и он понял, что узнали, что помнят.

– У вас на вокзале.

– Так давай к нам!

– А где Старик?

– Он только что уехал в Институт, но я сейчас же ему позвоню, что ты приехал, и он подъедет. Давай, ждем!

В голосе Лены звенела радость.

– Хорошо, – сказа Саша.

Он взглянул вверх. Низкое тяжелое небо нависло над городком.

Он поднял воротник, взглянул на часы, еще раз бросил взгляд на хмурое неприветливое небо, и пошел к автобусной остановке.

К Сенцовым они приехали почти одновременно – он и муж Лены, которого со студенческих времен звали они в Жуковском Стариком за раннюю его седину, происхождение которой знали все в ближайшем к событиям круге.

Знали, но распространяться ни по какому поводу приучены не были, и непосвященные новенькие физтехи принимали именование Старика как должное, тем более, что в те времена, вдруг вошло в моду именовать друг друга именно так.

И даже не умудренные опытом ядерных катастроф первоклашки переняли манеру называть друг друга "Старик".

Было в этом единении что-то особое, роднившее людей. Быть может, потому, что настали времена, когда стариков не стало на улицах городов. Исчезли. Ушли в землю…

Увидев Старика, Саша вдруг почувствовал облегчение, словно тот снял с него все его проблемы, взял на себя все узлы, затягивающиеся на его горле все туже и туже с каждым вздохом.

Время было против него.

Такое вот свойство было у этого человека. Словно излучал он нечто, попадая в зону чего, ты неисповедимым образом становился частью бескомпромиссной

всеобъемлющей охранной доброты. Быть может, того, что называется издревле и, по сути своей, космично – милосердия.

И, кажется, что есть в этом, захватившем тебя потоке, некая высшая правда, которая объяснит необъяснимое и спасет неспасаемое…

Они пожали руки, молча улыбаясь, разглядывая друг друга – столько лет не виделись, еще бы!

Вошли в квартиру, где Лена уже накрыла стол, вымыли руки, все также молча поглядывая друг на друга и, едва заметно, уголками губ улыбаясь.

Сели к столу. Лена поставила перед каждым по чашечку кофе, и, глотнув горячего ароматного "Сантоса", Саша вдруг широко улыбнулся:

– Ну, вот. Теперь я почти дома.

– Плесецк? – спросил Старик.

Саша молча кивнул.

– Хорошо, что без жены, – сказал Старик.

– Почему?

– Твоей там делать нечего. Изведет обоих. Даже тебя. О ней и не говорю.

– Почему? – снова спросил Саша.

– Увидишь сам. Но хорошо.

Саша протянул Старику визитку попутчика.

– Знаешь такого?

Старик скользнул взглядом по визитке.

– Ого! Кто же его не знает? Значит, Сам пригласил…

Старик пристально всматривался в лицо Саши.

– Они с твоим отцом во время войны в СМЕРШе вместе служили. Неужели ты его не узнал?

– Я никогда прежде не видел этого человека, – жестко, отчетливо произнес Саша, и в серых глазах его мелькнули льдинки.

– Это Плесецк. Он меняет человека. Иногда очень сильно.

Саша усмехнулся:

– Факир…

– Пожалуй, да, – задумчиво произнес Старик. – Не представляешь, как я тебе завидую!

Саша засмеялся:

– Значит, к Факиру… Старик, мне нужен твой совет.

– Простите, я оставлю вас ненадолго, – сказала Лена.

И вышла.

Саша подошел к окну, присел на подоконник и отвернулся.

За окном струился практически незнакомый городок.

– Как Дек отнесся к этому? – спросил Старик. – Трудно представить, чтобы он отпустил тебя… Ты согласовал?

– Согласовал, да не то.

И Саша коротко рассказал, что произошло.

Старик присвистнул.

Потом тоже подошел к окну.

Они долго молчали.

– Ты знаешь, Саша, я думаю, Деды сами раскрутят, как надо. Кто-нибудь знает, что ты здесь?

– Только он, попутчик по купе.

Старик засмеялся:

– Значит, он уже сообщил нашему, что украл тебя. И еще язык показал.

Саша слабо улыбнулся.

– Я уверен, я просто вижу это: ни свет, ни заря он звонит нашему, сообщает об этом и вешает трубку. И его поймут. И пойдут навстречу. Ты знаешь, почему? Потому, что тебя пригласили в ад. И ты согласился.

Саша смотрел в окно, ничего не видя, ни о чем больше не думая. Старик сказал главное. Всё. Точка.

– Ты знаешь, как тебя называли последнее время на курсе? Ангел, которого бросила девушка. Я бы сказал: Счастливый Ангел…

Саша резко обернулся, и Старик внутренне вздрогнул – боль, невыносимая боль глядела на него из глаз друга.

– Всё, хватит. Идем, еще по чашечке кофе… А пока мы завариваем, да усаживаемся, – спорим? – раздастся звонок. Нет?

Старик быстро пересек кухню, наполнил холодной водой кофейник…

И, действительно, как только они начали пить горячий обжигающий кофе, в гостиной раздался звонок.

Они слышали, как Лена ответила кому-то:

– Да, конечно! У нас. Что делают? Пьют кофе.

– Хорошо.

И она мягко опустила трубку на базу.

Глава 10. ЖИЗНЬ

Ляля сидела на старой медвежьей шкуре, обхватив руками ноги и уткнувшись в колени подбородком, и не мигая смотрела, как жаркие языки пламени над прогоревшими и превратившимися в горячие угли дровами, оседают, становятся синими.

Уходит куда-то в зимнее небо угарный газ из голландки, отделанной по-старинному белым с синими узорами кафелем.

И когда уляжется синее пламя, можно будет полностью открыть дверцу голландки, не опасаясь, что кто-то в доме угорит.

И тогда несказанное сказочное тепло польется на Лялю, на старую медвежью шкуру – помчится по сугробам на крышах Олень-Золотые-Рога, и каждому дому подарит драгоценное и вечное – счастье...

Ляля дождалась, когда все синие огни сгорели, еще полюбовалась недолго золотым жаром в камине и запахнула намертво дверцу голландки.

Поднялась, принесла большую цинковую ванну, взяла два ведра, которыми носили летом воду из реки, лопату, и вышла за дом, где много месяцев спали нетронутые сугробы.

Было темно, как всегда бывает на Севере зимними вечерами.

Ляля нарезала лопатой пласты снега, забила ими ведра, вернулась домой и сбросила снег в ванну. Посмотрела в прищур – мало.

Она дважды стремительно повторила эту процедуру.

Затем отнесла на место ведра и лопату, легла в ванну, на снег, ставший уже льдом, и закрыла глаза.

Ванна была небольшой. Ей пришлось скрутиться клубочком. Она накрыла ванну шкурой, чтобы не уходил холод, улыбнулась и заснула. Словно провалилась в черную бездну.

Ляля очнулась внезапно, как от толчка. Отбросила шкуру и пошла к входной двери. Надо было пересечь комнату, которая всегда называлась "детской", пройти вдоль коридора мимо гостиной и – почти у самого входа – мимо двери в тихую пустую кухню.

Она сбросила дверной крючок, толкнула тяжелую дверь в ледяные сени, пересекла их и стала спускаться по невысоким запорошенным снегом ступенькам вниз, в царство сугробов, из-под которых едва видны были черные крыши невысоких домов и трубы, из которых кое-где вился дымок.

Она шла по снегу босыми мокрыми заледеневшими ступнями, не думая ни о чем, – так сильно билась, пульсировала в ней ненависть к своему, как ей думалось и ощущалось, опороченному телу. Ей хотелось, чтобы колени стали стеклянными, как лед и, звякнув, рассыпались и чтобы никто никогда не смог бы ска-

зать ей ту страшную фразу, после которой все в ней изменилось.

Мама проснулась внезапно, вскинулась – ледяной холод клубами наполнял избу.

Она включила свет, увидела на полу следы мокрых ног.

– Отец! – диким, не своим голосом крикнула она в ужасе, не понимая еще, но предчувствуя, что происходит что-то страшное. – Отец!

И ринулась на улицу, сорвав по пути с вешалки шубейку.

Ляля лежала неподалеку от дома, едва заметная – белая на белом, но мать увидела, схватила, пытаясь поднять на руки.

Отчим раскинул тулуп, положил на него скорченное Лялино тело, завернул и понес в дом.

Они попытались растирать ее спиртом и медвежьим жиром, подаренном на всякий случай эвенками. И вскоре поняли – всё!

– Звони, отец, – сказала мама. – Звони в "Скорую"!

Она слышала, как он набирал номер и с кем-то говорил не по-русски. Коротко, быстро, она не вслушивалась – лишь бы пришли те, кто спасут дочь.

Пришли незнакомые ей люди, она и не смотрела, кто именно, потому, что они сразу окружили Лялю, закрыли кольцом из своих тел и попросили приоткрыть дверь:

– Для нее сейчас слишком жарко.

"Господи, за что, Господи?" – шептала, не замечая того мать, и жуткий озноб охватил ее, словно холод Лялиного тела начал перетекать в нее.

Она не знает, сколько пошло времени – час, два, может быть, больше, наконец, старшая из эвенков сказала ей:

– Теперь неси все сухое, а тулуп брось к печке – пусть сохнет.

Они быстро переодели Лялю, уложили в постель.

– А теперь вызывай "скорую". Она будет жить.

И они ушли…

Глава 11. ПАРИ

Саша понял, что речь шла о нем, что все уже решено – его даже не пригласили к телефону.

– Ну, что я говорил?

Старик аккуратно поставил кофейную чашку на блюдце.

– Зря ты пари не принял. Я бы сейчас наслаждался!

Он широко улыбался.

Саша заметил, что, говоря и улыбаясь, Старик не отрывает взгляда от своей шоколадной, с цветной, по древнерусскому обычаю, поливой по краям, керамической чашечки, словно всматривался, не осталось ли на донышке еще кофе.

– Чем? – спросил он.

– Что – чем?

– Чем бы ты сейчас наслаждался?

– Что за вопрос? Бутылочкой армянского коньяка, которую ты бы мне проиграл, конечно!

– Зачем тебе коньяк? Ты же не пьешь.

– Друзья пьют.

Старик засмеялся.

Шутка получилась дубовая, и оба они подумали, что говорят о пустяках, потому что наваливается на их судьбы что-то огромное и не пережитое еще, нечто совершенно новое и неизвестное, от которого не открутишься, не свернешь – ни влево, ни вправо, хоть и относились оба к этому совершенно по-разному.

Саша молчал.

Он хорошо представлял себе, что такое стройка нового полигона в глухой болотистой местности на той грани, где кончались леса, и тундра начинала отхватывать жадными, невидимыми, порой, с поверхности, языками вечного холода свои пространства.

– Ждешь? – спросил Старик.

– Да, – ответил Саша.

Он свое сделал.

Оставалось ждать фонтана телефонных звонков, которые определят всю его жизнь, уже ни о чем не спрашивая. И только одного звонка не будет среди всех. Именно его не будет.

Он почувствовал себя смертельно уставшим.

Но и к этому состоянию он привык. Он давно научился преодолевать его.

Но иногда он загонял себя до полного, точнее – почти полного изнеможения.

И вот тогда, чтобы преодолеть его, он однажды написал в очередном письме в бездну, без которой, как он думал, не сможет существовать на свете: "Положить бы голову тебе на колени и заснуть, Рыжик…"

Никому бы больше он не сказал в том, до какой степени иногда устает.

Только ей он мог признаться в этом, понимая, что даже невыполнимая, но овеществленная в слове мечта, спасает.

Он отправил тогда ей это письмо и почувствовал себя способным полноценно работать, думать еще хоть трое суток.

Всю последнюю зиму он жил письмами к ней, своей Мраморной Девочке и ожиданиями ответа на них.

Он читал и перечитывал их, как стихи, они вносили в его жизнь нотку нежности, без которой он просто сошел бы с ума…

– Шурик! Тебя к телефону, – заглянув к ним, сказала Лена.

Он медленно поднялся, кивнул ей в знак благодарности.

– Климов слушает, – произнес он ровно и холодно.

Он знал, что позвонит кто угодно, только не та, которая, как полагал он, его бросила. Пренебрег-ла.

А потому любой звонок был ему сейчас безразличен.

Строгий, привыкший к командам, "военный" голос коротко произнес:

– Здравия желаю. Вам следует… завтра… в 13-30 быть…

– Хорошо, – ответил Саша.

– Простите, не понял? – изумленно произнесли на другом конце провода.

– Есть! – резко сказал Саша и, кладя трубку на рычаг старого черного телефона, подумал:

– Это серьезно. И это затягивает полностью. Как раз то, что мне сейчас нужно. Ай да отцы-основатели! Психологи. А впрочем, как могло быть иначе?..

Он подошел к Старику. Тот только спросил:

– Когда?

Саша ответил.

Старик взглянул на часы.

– Как раз успеваешь "Северным". Только переоденься. Не московским же франтом туда ехать. Я сейчас принесу всё, что тебе пока необходимо. Потом кое-что подвезу. У меня есть допуск.

Сузились серые, стальные глаза друга:

– А у меня?

– Что "у тебя"?

– У меня есть допуск?

– Я полагаю, что уже на перроне тебя встретят и сопроводят, куда надо. И не смотри на меня так, не я же всё это затеял!

Саша опустил ресницы. И в самом деле, Старик прав.

– Хвали Бога, что у нас с тобой один рост, – смеясь, сказал Старик.

– Полнота разная, – усмехнулся Саша.

– Что так, то так. Запустил я со спортом. Ничего, не на бал едешь.

Они подошли к большому стенному шкафу.

– Примерь, тщательно примерь, – сказал Старик и передал ему пару сапог. – Сейчас там это главное. Стройка вроде бы закончена, но… Ах, Боже мой, Шурка, как я тебе завидую!

Он присел на корточки и снизу вверх оглядывал Климова.

– Ты у нас не только первый красавчик на факе, ты еще и везунчик. Счастливый Ангел, которого бросила девушка!

– Женатый, между прочим, – проворчал Саша.

– Ах, да! Прости. Про это я совсем забыл. Но народ только так тебя и называет. Согласись, по-английски это звучит, как песня!

– Не соглашусь, – сказал Саша. – Это звучит плохо. На любом языке.

И что-то словно обожгло, ударило его. Он отбросил сапог, подошел к окну. Странная темная гремучей змеей ползла с востока туча, так, словно ему одному предназначалась, за ним одним шла, чтобы поглотить.

– Ты чего, Шурик? Прости, я, как всегда, неудачно пошутил.

Саша отвернулся от окна.

– Это ты прости меня за маскарад. Я ведь прекрасно знаю, что меня там обмундируют по всей форме.

– Да, ты прав. Я только хотел, чтобы ты хоть чуть-чуть представил, что тебя ждет…

– Я представляю.

– Ну, конечно же! Целина, походы. Ты, ведь, сибиряк.

– Да, – сказал Саша и оглянулся на окно.

Ярко светило солнце, небо было чистым, как слеза ребенка. И не было в нем никаких туч.

"Почудилось", – подумал Саша, и нездешний морозец, странный внутренний холодок на долю секунды сковал его и только тогда он позволил себе подумать: "Рыжик! С ней что-то не так!".

И тут же отбросил ненужное предчувствие и запретил себе впредь раз и навсегда возвращаться к невозвратному.

Не до рефлексий.

– Что ты сказал?

– Пойдем, покажешь свои владения.

– Я как раз собирался предложить тебе это.

И они вышли в тихое и ясное карельское утро.

Последнее из немногих оставшихся ему, о чем никто в мире не мог и подозревать и в которых никогда больше не будет наяву его Мраморной Девочки…

Глава 12. ПЛЕСЕЦК

Первое, что бросилось Саше в глаза – цветной плакат с огромным медведем в центре. Плакат гласил:

– Если вам скажут, что в Плесецке по дорогам бродят медведи, не верьте! В Плесецке нет дорог!

Он взглянул на необжитое редколесье, мало напоминающее тайгу, и больше не стал ничего разглядывать – слишком резкая перемена.

Он, кажется, раскрошил всё, чем жил всю свою жизнь до этого. А, впрочем, ему предстояла его любимая экспериментально-инженерная работа – постановка задач, поиск решений.

Ему что-то говорили о проекте, и только однажды он слегка вздрогнул, услышав родное: "Ангара"… Такие вот случайные совпадения…

Но, главное, все внове. Такого еще не было на Земле.

Проекты назывались именами, ничего общего не имеющими с местом расположения нового космодрома: "Ангара", "Алдан", "Тайга"…

Да и сам городок, куда перемещался будущий, более совершенный Байконур, под усыпанным с небывалой подробностью героями древнегреческих мифов небом, их битвами, сражениями и страстями назвали: "Мирный". Как тот, алмазный, открытый в недрах Якутии.

Словно таинственный волшебник перенес на ладошке под небо, усыпанное звездными эллинскими

фантазиями, кусочек Якутии, в глубине просторов которой крохотной, едва слышимой точкой пульсировала измененная до неузнаваемости жизнь и сознание Ляли.

…Если бы кто-то из обычных смертных сумел заглянуть в его мысли, то споткнулся бы, как слепой, о камень на краю пропасти и сгинул, так и ничего не поняв.

Потому, что вместо понятных всякому мыслей-образов и чувств, окунулся бы в лабиринт непостижимых знаков, цифр, формул, построений, смысл которого скрыт для всякого, не имеющего его подготовку, которую получали только физтехи.

Цепочки знаков двигались иногда быстро и стройно, иногда их взламывал необъяснимый всплеск. Всё двигалось, пульсировало, жило своей напряженной жизнью, в которой не было просвета для цветочков и луговых трав – сейчас это был мозг физика, решавшего одну из незаконченных, оборванных не по его вине задач.

– Так что ты изучаешь? – спросила она однажды.

– Физику. Физику твердого тела.

– Тела?! – и она засмеялась, и рассыпались в рыжем осеннем небе золотые колокольчики.

Как он любил этот голос! Нет, неправда. Не просто голос. Он любил все в этой быстрой, как огонь, девчонке с ее стремительностью и внезапными задумчивыми остановками.

– Твердого тела, – мягко поправил он. – Понимаешь, мы решаем задачки, связанные с тем, например,

какие нужны условия, чтобы тело, входящее в атмосферу Земли с третьей космической скоростью, не сгорело…

– Хорошие условия! – тут же откликнулась она, улыбчиво взглянув на него и, как ему показалось, тут же забыв о своем вопросе.

"А ведь, ты права, Рыжик! – подумал он. – Ты даже не представляешь, насколько ты права!"

И засмеялся.

Он любил ее спрашивать, любил эти внезапные ответы, как озарения, вспышки, вонзающиеся в его строго сжатую ограниченностью времени жизнь.

– О чем ты думаешь? – спросил он в одну из таких пауз.

Она молчала, опустив глаза, глядя куда-то далеко вглубь, словно просвечивала нутро планеты. А потом подняла голову, взглянула в упор и тихо сказала:

– О тебе.

И опять морозной изморозью пробежало, наждачной рукавицей сжало страшное предчувствие.

– С нами что-то случится? – спросил он, но, чтобы не слышать ответа, закружил ее, и они побежали к зеленому берегу всегда ледяной Ангары.

***

...Работы было так много и шла она так непросто, что у него не оставалось ни секунды ни на чувства, ни на пустые воспоминания. Всё было новым. И это по-

глощало, захватывало с головой, и не было сил ни на что другое.

Он представлял достаточно точно, чем ему предстоит заниматься, он готовился к этому всю предшествующую жизнь.

Он был в полушаге от цели. Был холоден и спокоен.

Здесь, в этой рождающейся на его глазах и при его непосредственном участии новой звездной гавани страны, ему было покойно и комфортно, как нигде больше не могло бы быть.

И это ощущение поглощало его целиком, не давая ни секунды ни на слабость, ни на заторможку.

ПИСЬМА

Сугубо городской, рафинированный до совершенства первоклассным воспитанием, он не страшился никакой работы, его не пугали никакие физические сложности, посылаемые человеку природой ли, обстоятельствами, в которых надо работать.

Он настолько привык к тому, что надо постоянно шлифовать и кормить ненасытный, жадный до каждого нового слова в науке, мозг, что все остальное было побочным и неважным.

Исключением из этой, почти аскетической жизни, в которой все подчинено интеллекту, были ее письма.

Когда усталость сваливала его, он ложился на диван, закрывал глаза и видел строчки, в которых билась, струилась ее удивительная непостижимая жизнь.

"Саша! Спасибо за письмо. Получила. Ты не представляешь, какой у нас сегодня туман в городе.

Домов не видно.

Идешь по улице, а они смутно темнеют такими огромными зыбкими пятнами, плывут мимо…"

"Здравствуй, Саша! Какое чудное письмо я получила от тебя сегодня! У меня всё по-прежнему. Только добавился китайский. Латынь сдала, сама удивляюсь, как. Вроде бы и не очень-то учила. Но знаешь, что удивило меня в этом языке? Стройность!

Смеёшься, наверное.

Но, когда кажется, что уже ничего не знаешь, а до экзамена меньше недели, вдруг, проснувшись, обнаруживаешь, что латынь – прекраснейшее совершенное по пропорциям здание, где всё на своем месте. И так легко и свободно тебе в этом великолепном здании, что самой не верится…"

"…Меня познакомили со здешним скульптором. Он готовит персональную выставку, уговорил меня сходить в музей искусств. Мы бродили с ним по залам, и он рассказывал мне своё видение каждого полотна, каждой скульптуры. Ты знаешь, Саша, я теперь много больше вижу…"

– Вот, оно, – подумал он. – Познакомили, значит… А я совершенно не придал этому значения.

"… Снова были в музее. Ах, Саша! Мы с тобой совсем не так смотрели на всё. Совсем не так! Есть в

живописи другая истина, ее сразу и не заметишь, она скрыта от несведущих глаз…

Я получила настоящее эстетическое удовольствие, расшифровывая тайный смысл мазков кисти, пытаясь понять, почему художник в эту минуту работал именно так!.."

– Вот она. Эта фраза, подумал Саша. – "Я получила настоящее эстетическое удовольствие, расшифровывая тайный смысл…"

И вспоминал внезапную остановку ночного поезда под звездным небом эллинских фантазий (фантазий ли?), Факира и тут же погружался в недолгий глубокий и освежающий сон.

И снова работа, как аскеза… Она заменяла и очищала всё.

…Старик приехал неожиданно, ворвался в его стройный мир, но Саша даже обрадовался другу.

– Как ты? – спросили одновременно и засмеялись.

– Я ненадолго, – сказал Старик. – Ты знаешь, о, "Счастливый Ангел, которого бросила девушка", если бы ты не укатил так стремительно, ты бы заметил, что красивее этих мест нет на свете. "Над голубыми глазами озер…" – это, ведь о нас!

Ты хоть заметил, как много у нас там, в Петрозаводске, девушек? И все – красивые! Нет-нет, ты ничего не заметил! Знаешь Ангел, нет в мире другого города, где на единицу площади сконцентрировано столько женского…

– Что? – спросил Саша. – Прости, я отвлекся.

– Отдохни, – сказал Старик. – Приезжай на пару деньков. Тебе надо просто отдохнуть, прогуляться по красивому городу между красивых девушек…

– Нет, – сказал Саша. – Я уже сжегся на этом.

– То-есть? – Старик взглянул в лицо Саши. – "Сжегся", то есть, сжег себя?

И снова, как уже однажды, увидел, как сузились глаза друга, стали непроницаемо ледяными.

– Прости, – сказал он. Прости. Не тема…

***

Однажды ему сказали, что прошло полгода, и у него есть право съездить в отпуск.

– Полгода? – переспросил Саша.

– Так точно, – сказал Факир, и в глазах его плясали веселые чертики. – Ваша жена звонит нам каждый день. Считает, что мы людоеды, проглотили ее суженого и забыли.

Нора! Он совсем забыл о ней.

– Отпуск, но…

– Никаких "но". Это - приказ. Собирайтесь и немедленно. Вам, ведь все равно не уехать никуда от своей задачи.

Прозвучало двусмысленно.

Он прав, подумал Саша. Никогда и никуда не уедешь от гвоздика, который кто-то вбил тебе в голову…

Глава 13. ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ПОЛЯНЫ

Ляля открыла глаза. Солнце смотрело ей в лицо сквозь окно напротив.

Оно было так сильно, что и окна-то не было видно вовсе, и Ляля, подумав, что вот, и я в гостях у самого Солнца, засмеялась.

– Очнулась! – сказал кто-то негромко рядом с ней.

Она повернула взгляд в сторону говорившего.

Рыжий огромный человек в белом халате, по всей вероятности, доктор, с лицом, сплошь усыпанном конопушками, очень серьезно, чуть подавшись вперед, пристально всматривался в нее.

И она снова засмеялась:

– Два солнышка, – сказала чистым негромким ясным голосом.

И засмеялась.

– Вы чего-нибудь хотите? – спросил Доктор Солнышко.

– Да, – смущенно сказала Ляля. – А можно мне зеркальце?

– Зеркальце! – закричал кому-то вглубь помещения Доктор. – Есть у кого-нибудь зеркальце?

Кто-то, Ляля не видела, кто именно, протянул Доктору маленькое круглое зеркальце в простой тонкой оправе, – такие обычно продаются вместе с дамскими сумочками.

– Вот. Только такое, – произнес женский голос с легким акцентом.

– Спасибо, сестра!

Доктор, не сводя глаз с лица Ляли, взял в огромную руку крохотное зеркальце и протянул его Ляле.

– Спасибо, – сказала они, пристально вглядываясь в свое отражение.

На нее смотрели ее глаза. И не было на ресницах легких, но так привычно необходимых, как она всегда думала, следов ухоженности. И это удивило ее.

Ресницы показались неприлично белесыми, отчего глаза казались странно не вполне своими.

Она удивлялась, молча рассматривая "не свои глаза", а в это время кто-то сказал:

– Попросила зеркальце. Значит всё позади!

Ляля повернула голову и увидела людей, и все они как-то странно радостно, с каким-то непонятным ей облегчением, улыбались.

И она, эта общая тихая радость, это странное для нее, Ляли, облегчение витало в палате, как вздох, как выдох, когда опасность – внезапная и, кажется, неотвратимая, миновала.

– Ну, вот, и слава Богу! – сказал Доктор Солнышко и тоже чуть заметно, одними уголками губ, улыбнулся. – Позвоните маме.

– Что? – спросила Ляля. – Что случилось, Доктор? Почему я…

И споткнулась, и замерла, потому что внезапно серой тенью накрыло и солнце, и всех их, навалилось, сдавило в мутный вихрь нечто неясное и страшное, готовое скрутить и раздавить всё – и этот неожиданный незнакомый солнечный день, и солнечного Доктора, и

женщину, протянувшую ей свое зеркальце, но вдруг, мелькнув, сгорело в яром солнце, растопившем снова оконный переплет и шагнувшем к Ляле.

И она снова неожиданно для себя засмеялась.

– Ничего, – сказал Доктор. – Ничего не случилось. Просто ты немного приболела. Еще недельку и – домой!

И тут Ляля увидела сквозь окно, как неслышимый порыв ветра рванул на юной березке ее зеленый плат и отступил.

И лишь едва качнулись ему вслед ветви старой могучей лиственницы.

– Лето? – сказала Ляля. – Лето… А я и не заметила, что уже лето.

– Как же не заметила? Ты же на него смотришь! – сказал Доктор и снова чуть улыбнулся доброй, едва уловимой улыбкой.

– Или оно на меня?

Ляля улыбалась.

– Я немного посплю. Можно, Доктор?

– Конечно-конечно, – спокойно ответил он. – Между прочим, меня зовут Дмитрий Степанович.

– Спасибо, Дмитрий Степанович, – произнесла Ляля одними губами, падая в провал необоримого сна.

Ей снились зеленые луга, и флоксы на лесных полянах, и зреющая земляника на коротких, у самой земли, усыпанной рыжими хвоинками, стеблях.

И нужно было прилечь, прижаться щекой к этой горячей, укрытой хвоей земле, чтобы сорвать губами земляничинку.

Она тоже была теплой от солнца. Теплой и сладкой.

Мама стремительно вошла в палату, и Доктор тихонько придержал ее, прижав палец к губам и рукой показав на Лялю.

Та спала, лежа на спине лицом к солнцу. И пальцы ее тонкой, почти прозрачной руки касались маленького круглого зеркальца.

Мать тревожно взглянула на Доктора, и он поманил всех из палаты, и уже в коридоре, широко улыбнувшись, сказал:

– Она проснулась и попросила зеркальце.

– Зеркальце? – переспросила мама.

– Да, – сказала медсестра-эвенка. – Она увидела солнце и летнюю тайгу. И не удивилась. Не испугалась. Тайга дает ей силы. Тайга бережет ее.

И, помолчав, вглядываясь в лица, – поняли они, или нет? – сказала:

– Через неделю я заберу ее к себе на дальнюю заимку. До первой брусники, до осени. Она будет жить с нами.

И добавила:

– Если Дмитрий Степанович не против.

– Хорошее решение, – задумчиво сказал Доктор. – Очень хорошее.

– Сёп, – сказала медсестра. – Я пошла. Много дел.

– Хорошо, – тихо откликнулась мама. – Сёп.

Мать отвела Доктора в сторону. Тревожно, измученно спросила едва слышно:

– Вы проводили осмотр?

Доктор понял, о чем она спрашивает, что больше всего тревожит мать.

– Конечно. Как положено. Полный осмотр. Признаться, я тоже поначалу подумал о самом страшном для девушки…

Вздрогнула мать, и серые, с вкраплениями янтаринок, глаза ее потемнели, словно сама измученная необъяснимым материнская душа глянула из таких глубин, где нет чужим места…

– Нет-нет, – сказал Доктор. – С Лялей все в порядке. Не было. Насилия не было.

– Вы уверены? – тихо спросила мать.

– Абсолютно, – спокойно сказал Доктор. – Правда, при очень тщательном осмотре наш гинеколог отметила очень мелкий шрам. Он не может быть следом насилия. Бывает так…

Мать молчала.

– Всё в порядке с Лялей, понимаете?

Доктор наклонился к матери, легонько взял ее за плечи, заглянул в глубину застывших глаз.

– Вам надо забыть всё, что произошло в ту ночь, зимой. Забыть! Потому, что теперь с Лялей всё в порядке. Теперь только Вы и отец должны забыть ту ночь. Вычеркнуть. Не было ее в вашей жизни.

Эвенки не болтливы, Вы знаете. Они не проболтаются.

А нам с вами надо забыть. Ни взглядом, ни намеком не дать ей вспомнить, что произошло.

Шкуру медвежью, тулуп – выкинуть!

– Уже, – тихо сказала мать.

– А заимка – очень хорошо! – задумчиво сказал Доктор-Солнце. – Эйни права: тайга вернет ей силы. Эвенки разбираются в этом лучше нас с вами.

А ваша девочка принята ими теперь, как дочь, они как бы отвоевали ее у злых сил, для них она и не Ляля, а Айвенка. По-русски что-то вроде "Иванка". От фамилии отчима, видимо. Не спрашивал, но так они ее назвали. Но между собой они зовут ее сакральным именем – Хоронхо Чэчикэ.

– Чэчикэ?

– Да, Птичка. Хранящая от бед. И ждут, между прочим. Там целая история, я Вам расскажу как-нибудь. Но!.. Прекрасный реабилитационный период!

– Пожалуй, да, – тихо сказала мать.

В глазах ее стояли слезы.

Глава 14. ЗАИМКА

Ляле досталась маленькая лохматая и бесконечно терпеливая лошадка.

Юный подлесок и высокие травы защищали ее круглый, словно бочонок, живот от гнуса, но через па-

ру часов путешествия Ляля заметила вдруг, что из глаз молчаливой ее каурой лошадки текут слезы, оставляя непрерывный красный след.

Вся морда лошади была облеплена гнусом.

Ляля наклонилась к шее лошади, стала руками счищать въевшийся ненасытный гнус, но как она ни старалась, полчища комаров и мошки, не отступали.

Она скидывала, давила их, а они впивались в терпеливое животное, словно все гнусное население таежных болот и марей решило выпить всю его кровь.

Быть может, в отместку за терпеливость той, круглый живот которой показывал, что ближе к зиме у Терпеливой родится такой же маленький и терпеливый жеребенок.

Ляля распрямилась, взглянула на свои ладони, выронила поводья, замерла: они сплошь были покрыты кровью.

Она глядела и глядела на них, и что-то ужасное, черное непоправимое вдруг стало наползать на нее ледяным мраком.

И за секунду до того, как он приблизился, чтобы охватить и поглотить ее вовсе, разорвав летний покой тайги страшным смертным криком, за миг до едва было не всплывшего воспоминания, к ней подбежал эвенок из обоза, схватил ее руки и стал лить на них из большого берестяного туеса теплую коричневую болотную воду, приговаривая что-то по-своему.

И снова белыми стали руки Ляли, и смеялась подошедшая Эйни:

– Лошади без накомарников. Они привыкли!

И улыбалась, приговаривая:

– Возьми у Айсена туесок с водой, да поливай иногда на морду лошади. Ей будет приятно. Да мы почти приехали. Еще чуть-чуть. До вечера уже близко. Как услышишь запах дымка, значит зимовье за лиственницами, совсем рядом.

И ни на секунду не останавливался обоз, всё шло своим чередом – и время, и солнце, и теплая вода из туеска, и смешной страх от вида собственных ладоней, и неспешный разговор помощницы Доктора Солнце.

– А знаешь, тебя Айсен заколдовал. Можешь и накомарник снять. Теперь ни один комарик тебя не укусит! Не веришь? А ты проверь!

И Эйни, помахав ей рукой, чуть отстала, чтобы подойти к своей лошади. Крикнула издали:

– Это подарок от него!

– За что? – спросила Ляля, обернувшись, но ветви старых лиственниц скрыли ответ Эйни.

Но вот, что любопытно! Заговор Айсена с той самой поры действовал везде. Только в очень-очень больших городах каменных иногда не срабатывал.

Солнце опустилось к горизонту, залив мягким багряным цветом стволы лиственниц.

Тайга расступилась, и Ляля увидела широкую чистую, поросшую сочными травами поляну, в центре которой одиноко стояла невысокая изба из почерневших бревен с маленьким окном и невысоким входом, закрывающимся тяжелой бревенчатой дверью.

– Приехали! – крикнул кто-то по-русски. – Шабаш!

Из-за избушки вышла стройная немолодая женщина, бросила короткий взгляд на обоз, наклонилась к земле, что-то подняла и бросила в плоскую корзину, которую придерживала у левого бока так, словно у странной корзины и ручек-то не было.

– Это заимка? – спросила Ляля.

Женщина молча взглянула на нее, зашла за угол дома и вернулась, протянув Ляле точно такую же плоскую корзину без ручек, и пошла вперед по лугу, собирая высохшие едва ли не до невесомости коровьи "лепешки".

Женщина сказала что-то, но Ляля ни слова не поняла, переспросила. Женщина остановилась, пристально вглядываясь в ее лицо, и обе они вдруг рассмеялись, легко и непринужденно.

Хозяйка избушки показала на свою корзину, махнула Ляле рукой – подключайся, мол, к работе, и пошла дальше по лугу-выпасу, по пути собирая свои находки в ивовую корзину.

– Кизяки… Они собирают здесь кизяки. Зачем? – удивилась Ляля и пошла вдоль луга параллельно его хозяйке.

Та что-то сказала и показала рукой на избушку. И Ляля опять не поняла ни слова.

Вскоре пришла Эйни. Женщина сказала ей что-то.

Эйни засмеялась, перевела:

– Она спрашивает, у кого мы отвоевали такую красавицу? И смеётся, когда я сказала, что ты из моей родни. Не верит.

Эйни улыбалась.

"Эвенки редко улыбаются, редко смеются, – подумала Ляля. – Что происходит?"

– Спрашивает, для кого из парней ты предназначена, – снова перевела Эйни.

– Чего-о? – удивилась Ляля.

– Не пугайся, – сказала Эйни. – Я объяснила, что ты земное воплощение Хороньхе Чэчикэ.

– Чэчикэ? – спросила Ляля.

– Да. Птичка. Она охраняет всех эвенков, отгоняет от нас бедствия.

– Сильная птичка, – сказала Ляля.

– Да, – сказала Эйни. – Очень сильная.

– А что мы с этим будем делать? – спросила Ляля.

Эйни взглянула на корзинку.

– Избу окуривать. Мужчины обоза переночуют здесь. Утром пойдут дальше. А нам с тобой, Чэчикэ, пора на заимку. Солнце уже на горизонт присело. Прощается…

Марфа сама всё сделает. Всё приготовит для ночлега.

– Так ее зовут Марфа?

– Марфа-умелица. Если перевести дословно, очень длинно получится. Марфа, и всё. По крещению.

– Эвенки крещеные?

– Да, многие. Ты видела наши крестики?

– Нет.

– Я подарю тебе один. Они на первый взгляд очень простые. Да и отливают их из олова и свинца.

– Почему? Здесь, ведь, полно и серебра и золота! И ковать из них легко.

Эйни помолчала.

– Не все хорошо, что легко. Эвенки не носят золото.

– Золото – зло! – засмеялась Ляля.

– А ты откуда знаешь про это, Чэчикэ?

– Мама сказала. А почему вы называете меня птичкой?

Эйни ответила не сразу, задумчиво глядя на присевшее на горизонт багряное солнце. Как же давно это было!

Стоял над Землей небывалый холод. А потом пришла пурга. Никто не мог пробиться на остров к Последнему. Даже на самых быстрых лыжах. И шли недели…

– Это ты спасла Последнего Шамана.

– Я только позвала к нему на помощь.

– Но только к тебе он обратился перед смертью. Только ты смогла увидеть его и пошла к эвенкам сказать об этом. Значит, никто другой не сделал бы это. Так, глупый сон… И всё. Отмахнулся бы. Благодаря те-

бе Последний успел передать свою силу молодому. Ты была очень маленькая. Ты помнишь это?

Ляля молчала. Это был их детский секрет. А тайну не выдают. Значит, они всё знают… Вот, почему – Чэчикэ…

– А Марфа тоже знает про Красную Собаку?

Марфа, услышав свое имя, что-то сказала.

– Спрашивает, как зовут тебя.

– Ляля.

– Ляля! – протянула Марфа. – Дороообо, Ляля-Красавица!

– Она поприветствовала тебя, – сказала Эйни.

– Дороообо, Марфа! – сказала Ляля.

– Пойдем, – сказала Эйни. – А то скоро стемнеет.

Заимка состояла из двух деревянных изб, огромного стола под навесом, уставленного березовыми туесками разной величины и предназначения. И каждый был красив, каждый украшен по-особому. В них хранили пищу и молоко. Здесь же была посуда для еды.

После ужина разожгли небольшой костерок, сели кругом и потекли тихие разговоры.

– Эйни, а Марфа тоже знает? – снова спросила Ляля.

– Все знают… Такое бывает не каждый день, – сказал Эйни. – К Чэчикэ в ту ночь пришла Собака Шамана. И Чэчикэ была маленькой русской девочкой. Но она все поняла, и, проснувшись, пошла к эвенкам.

Там ее друзья жили. Двойняшки. Это они рассказали ей про Последнего Шамана на острове.

И что о нем нельзя никому говорить. Его убили бы, если бы узнали, где эвенки прячут своего Последнего…

Чэчикэ сказала эвенкам, что Последнему плохо.

Красная Собака, похожая на волка, вошла в его избу, сказала она, и легла рядом с ним.

"Ему очень плохо!" – сказала ты.

И все поняли, что Последний еще жив. И пошли к нему…

– Да, так все было. Они сказали мне, что думали, что у него давно кончились продукты, и он умер. А в тот день пурга ушла из Эльдикана, но пришел мороз. Детей не пускали на улицу.

– А ты пошла!

– Эйни, почему Собака была красной?

– Это бесы содрали с нее шкуру, когда она пошла к людям за помощью. Собака спасла его, придя к тебе. Посмотри на небо. Видишь, что там, над нами?

– Большая Медведица.

– А хвост видишь?

– Ну да! – Ляля засмеялась.

– Чэчикэ смеется! – сказала тихо Эйни и улыбнулась. – А вон, в хвосте Медведицы видишь звезду, ярче других?

– Вижу.

– Так это ее звезда. Звезда Собаки Шамана. Точнее, духа ее. Дух помощника шамана. И каждый одиннадцатый год 12-летнего круга времени называют люди ее именем.

– И каждый одиннадцатый месяц года, – Добавил неслышно подошедший к ним Айсен. – Вот, кто позвал тебя на помощь, Чэчикэ!

Было лето. Ночи стояли короткие. И вскоре все пошли спать. Ляля заснула легко и ясно, как спят дети.

И если бы кто-то сказал – не сегодняшней – прежней Ляле, какая безнадежная и долгая жизнь закрутит в своих ежовых рукавицах ее прекрасного юношу, без которого она не могла жить, а потому растворила его в себе, развела по своим жилам и венам, и он, незнаемый, заполнил ее всю, вместив собою всё, что было не он, – если бы кто-то не сказал бы даже, нет, просто намекнул ей, прежней, через какие страшные жернова пройдет душа его, она бы не поверила.

Но Ляля нынешняя, живущая в эвенкийском таёжном стойбище, не помнила того, кого так глубоко – до неощущения самого этого чувства – любила.

Она не помнила ничего, что, хоть как-то, было связано с этим человеком, ни того, что где-то он есть. Но чувство к нему вросло в нее раз и на всю ее жизнь,

растворилось в крови, растеклось по сосудам, заполнило всю ее суть так, что стало неотрывным от самого бытия ее на этой Земле, и было бы невозможным отделить от нее это странное поглотившее ее чувство, не убив ее.

И шаманьи чаи да тихие вечера у костерка под редкие звуки хомуса завивали, завораживали Лялину память так, что не помнила она ни лица, ни голоса человека, чья любовь раз и навсегда, проникнув в ее кровь, осталась в ней, озаряя изнутри таким светом, что никто не мог пройти мимо, не задержав на ней взгляда...

На улицах городов ей читали стихи, подойдя словно бы случайно, пытались заговорить за столиком у чашки кофе, но стоило Ляле поднять ресницы и взглянуть, как человек замирал, словно дохнуло на него колдовское ледяное дыхание айсберга.

И замирал, и ретировался, и рад был, что цел остался, нездешним холодом потянуло вдруг, замогильным.

С чего бы так?

А она шла себе дальше, ничего не замечая. И мимо нее текли годы и годы…

Глава 15. СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

И прошла тысяча тысяч лет…

Под утро приснилось. Какая-то девочка – не сама ли я из прошлого? – сказала:

– Ляля, ты всю жизнь ищешь его, хоть и не знаешь об этом. Пойдем, я тебе покажу, где он живет.

Они поднялись на этаж, повернули к двери налево, и Ляля сразу увидела его.

– Саша! – только и крикнула она.

Узнавание. Мгновенное. Она вспомнила. И бесконечная нежность, к которой подсознательно, - необъяснимая тоска – не это ли? – тянулась она всю жизнь, окутала ее…

Она держала его лицо в ладонях, глядела – не наглядеться, как сухую воду пить – не насытиться.

Он улыбался, этот худой, измученный каким-то, неизвестным ей, страданием посветлевший вдруг человек, которому было много-много лет, наверное, около ста, или больше, но она не думала об этом, потому что и он тонул, не отрывая глаз от лица Ляли, в этой нежности, накрывшей их.

И вдруг она заметила, что у него карие глаза.

– Саша! Твои глаза! Ты никогда не был кареглазым!

– Вот и я говорю им всем про это. А они смеются. У меня глаза всегда были сиреневые…

Сиреневых глаз не бывает, подумала Ляля. Твои глаза были цвета охты…

А потом они начали становиться как бы в сеточку из кристалликов разного цвета. Но преобладал синий и темносерый…

"Не бывает сиреневых глаз, Саша..." – снова подумала Ляля.

Позади него мелькнул силуэт полной женщины с короткой стрижкой, седая прядь вдоль лица. Его мама!

Ляля узнала её…

***

Проснувшись, я долго, не замечая того, улыбалась. Их души соприкоснулись. Нет, наверное, счастья, думала я, безмернее и выше этого, даже если прошла вся жизнь. Нет…

Иркутск – Звездный Городок – Санкт-Петербург
2018, июль

Содержание

От автора	5
«Нам вселенную подавай, не меньше!»	6
Судьба	15
Похоронили	21
Гаврилов Ям	25
Осень в Репино	35
Писем нет	48
Кабинет	56
Пушкин и перестройка	62
Смольный	65
Вересковая пустошь	75
Сестры	78
День-камень	81
Эльфичка	92
Зеленая гусеница в зеленой траве (роман)	100
Содержание	223

Литературно-художественное издание

"ЖУРАВЛИНЫЙ КЛИН", проза

Ольга Ланская (О.Ю. Талалаева-Ланская)

ISBN 978 -56041761-8-4

Электронное издание для библиотек и читателей
Санкт-Петербург